

*Фрэнк Харрис*

## **Бомба**

**Пролетарский роман  
английского денди**

2005

# Оглавление

Предисловие .....	3
Глава I .....	7
Глава II .....	28
Глава III .....	41
Глава IV .....	51
Глава V .....	64
Глава VI .....	71
Глава VII .....	80
Глава VIII .....	90
Глава IX .....	102
Глава X .....	114
Глава XI .....	123
Глава XII .....	134
Глава XIII .....	138
Глава XIV .....	145

## Предисловие

До 1972 года на перекрестке Хеймаркет и Вест-Рэндонф-стрит в Чикаго стоял каменный полицейский в мундире и каске. Если верить путеводителю, его взрывали и восстанавливали более десяти раз — для обеих сторон это был вопрос принципа? — пока не спрятали в ближайший полицейский офис. Постамент остался на улице, весь в трещинах от взрывов, и, если приглядеться, над этими трещинами, едва различим, как водяной знак вопроса, дымок анархистской бомбы.

Роман Фрэнка Харриса написан от имени вымышленного бомбиста, который в действительности так и не был найден. Рудольф Шнобельт исповедуется в причинах своего поступка и сам описывает в газетах его последствия, воплощая мечту столь многих литераторов-экстремистов всех поколений. Пацифистское «Книги вместо бомб!» появилось много позже и именно как парафраз старого анархистского «Бомба и книга!»

Взрыв 4 мая 1886 года вызвал многочисленные жертвы, пролетарские беспорядки, массовые репрессии и погромы редакций. С другой стороны, он резко приблизил восьмичасовой рабочий день и покончил с изуверским детским трудом на американских фабриках. Испуганные анархическим грохотом работодатели и законодатели на глазах делались уступчивей и гуманнее. Как справедливое было принято даже требование второго выходного дня. Восемь вдохновителей забастовки, осужденных «за подстрекательство и причастность» были канонизированы Интернационалом сразу же после вынесения приговора. Как память о казненных лидерах чикагских рабочих и учрежден американскими профсоюзами праздник Первого мая, с чем бы его сегодня не путали: «солидарность трудящихся», «примирение и согласие» или карнавальный «may day» антиглобалистов.

Луис Лингг, захвативший воображение и ставший настоящим «сверх-Я» Шнобельта, не скрывал своей веры в насилие, как и большинство тогдашних анархистов. Насилие было для них последним способом общения с государством в ситуации, когда все остальные способы ничего не дают. Страх перед политически мотивированным террором — новое, многим казалось, единственное из доступных населению средство влиять на власть и капитал. Утописты оправдывали свое насилие еще большим ежедневным насилием Порядка над людьми. На «реформистские» разговоры о легальных и ненасильственных методах анархисты тех лет часто отвечали: «Глупо говорить тонущему: избегай воды!» Насилие после хеймаркетского взрыва стало обратной стороной безжалостной эксплуатации и растущего отчуждения человека. Роман Харриса полон индустриальных метафор этой нещадной эксплуатации — высокое давление, невидимо убивающее человека в кессоне, фосфор, делающий скелеты стеклянными хрупкими, азотная кислота, свинец, портящий кровь и передающий это

проклятие по наследству. Из этого опасного свинца возникало золото тех, кто владел фабриками и принимал законы.

Отчуждение Харрис демонстрирует через тотальную невозможность, на которую обречен его рассказчик. Невозможность жить на родине и найти применение своим «мертвым» знаниям. Невозможность полной близости с Элси, верившей в тогдашнюю версию американской мечты. Невозможность стать частью Соединенных Штатов воплощена в бомбе, адресованной властям и доставшейся всем. Бомба — это мгновенная Возможность. В момент бомбометания отчуждение как будто преодолевается, даже объективная, природная сила грозы совпадает с личным усилием — свинцовым шаром возмездия, пущенным в полицейских, увечаящих толпу. Но дальше отчуждение обрушивается на Шнобельта вновь и окончательно ломает его. Невозможность остаться в Америке, рассказать правду о казненных лидерах рабочего движения в европейской прессе и, в конце концов, невозможность самой жизни. Собственное бессознательное заставляет метателя простудиться и умереть, разделив несуществование с его кумиром Линггом, называвшим самодельные бомбы «ключами от наших земных тюрем». Шнобельта преследует хищный невроз. Демон вины стоит за каждой дверью. Всевидящий светящийся глаз зло следит за бомбистом-рассказчиком в его видениях.

В «Бомбе», изданной в самом начале двадцатого века, автор не мог сказать всего, хотя бы потому, что анархистский террор к тому времени стал повсеместным и грозил перерасти в *hardline* всех ближайших гражданских войн. Поэтому Харрис вкладывает в уста агитаторов безобидные утопии об армиях, сажающих цветы на улицах, или же говорит о «смутности теории и ясности практики». Более подробное изложение их позитивной программы сочли бы в те годы открытой пропагандой классово-розовой розни и бомбистских идей.

Между тем в клубах взаимного обучения, служивших легальной крышей для радикальных кружков, возглавляемых людьми вроде Лингга, обсуждалось упразднение частной собственности и отмена права наследования. Социал-революционные клубы действовали тогда во всех промышленных городах США. Там планировался переход от наемного труда к самоуправлению, а потом и к полностью добровольному труду, от представительной демократии к прямой, а потом и к ничем не ограниченной свободе.

Оттуда открывался мир без буржуазии и бюрократии, то есть без эксплуатации, обмана и отчуждения. Борьба между трудом и деньгами должна была стать чем-то большим, нежели просто борьбой за деньги. «Получится из нашего мира что-нибудь или нет?» — спрашивает себя Лингг накануне взрыва. Мир выглядел в лучшем случае как лавка с завышенными ценами, а в худшем — как казарма, и его планировалось переустроить, сделав доступным и бесплатным, как детская площадка в парке или как общественная библиотека. Труд нуждался в освобождении: в этом мире человек не работает, а зарабатывает, результат подменен прибылью, и каждый реален настолько, насколько

финансово состоятелен.

Несмотря на преимущественно эмигрантский состав, в пролетарских клубах часто ссылались именно на американские принципы и традиции, недаром Бенджамен Таккер называл анархистом «любого джефферсоновского демократа, которого не успели запугать», а Алексис Токвиль считал базой реальной демократии в Америке землячества, клубы, кружки, профсоюзы — свободные от государства сообщества, одним из которых и был клуб Лингга.

Тогдашние чикагские анархисты издавали пять газет. Контролируемая ими Ассоциация включала в себя двадцать два городских профсоюза, то есть шесть тысяч рабочих. В майской стачке 1886-го, кульминацией которой и стал взрыв, участвовало пятьдесят тысяч человек. Похороны казненных вдохновителей забастовки вылились в полумиллионную демонстрацию — примерно столько же людей собралось в те же дни на открытие нью-йоркской статуи Свободы.

Мастерство производственного саботажа и захватных стачек только изобреталось. Героические времена Индустриального Товарищества Рабочих были еще впереди. «Без Бога и босса!» — гласили ходившие по рукам листовки: «Их цель — прибыль, наша участь — кнут, выход — революция!» Результатом всего этого, правда, оказался не материальный рай безвластной коммуны, но высокий уровень социальных гарантий, сохранение которых требует непрерывной активности населения.

«Кружевные рубашки и бриллианты на туфлях», о которых вспоминал Луис Лингг, как о безвозвратно забытых чудачествах элиты, можно видеть сегодня в светской хронике любого гламурного журнала. Никелевые стены мест, где буржуа компенсируют свое неизбывное убожество, усыпаны сверканием рубинов, гранатов и алмазов. Ненадолго буржуа расстаются со своим немощным сознанием на серебряных диванах с полированной норкой, а потом их тошнит от самих себя в золотые умывальники и писсуары. В истории никогда не бывает «слишком поздно» для возвращения «проклятого прошлого».

«Позорные производства» с рабскими условиями, описанными в «Бомбе», тоже, кстати, никуда не делись. Они вынесены сегодня в Мексику, Аргентину, Малайзию, Сингапур . . . и продолжают быть источником фантастической прибыли компаний и материалом для модных разоблачительных книг вроде «No Logo» Наоми Кляйн.

В мире, где фразы вроде «государства суть собственность транснациональных корпораций и управляются международными финансовыми институтами» — давно стали общим местом и ни у кого не вызывают вопросов, освободительный проект не мог перейти в разряд идейного антиквариата. Хотя сегодняшнее поколение утопистов говорит чаще не об освобождении, а о преодолении труда как устаревшей дисциплинарной практики, резонно спрашивая: «Если семь процентов выполняемой на земле работы покрывают минимальные нужды человечества, куда и ради кого мы ходим пять дней в неделю?»

«Бомба» — не типичный для Фрэнка Харриса роман. Он больше запомнился

публике своими шокирующими эротическими откровениями, знал наизусть едва ли не всего Шекспира, мог часами говорить о его эпохе и считался непредсказуемым денди. Его приятель Оскар Уайльд шутил: «Фрэнка Харриса приглашают во все лучшие дома Англии. Один раз!» После смерти Уайльда Харрис редактировал его «аморальные» романы, издавал *Vanity Fair*, богемный журнал, в котором Алистер Кроули разоблачал плагиатора Мозма. Между тем у автора «Бомбы» было свое, далекое от скандальных колонок бульварных газет понимание дендизма: противопоставление себя обществу нужно для создания дистанции, оно дает возможность особенного взгляда на это самое общество, позволяет сделать шаг от привычных явлений к их невыносимой сущности. Отстранение ради «остранения». Для художника и, конкретнее, для литератора искусство выражает именно то, что не может сегодня быть выражено политически. Это остро ощущает начитанный, но несчастливый Рудольф Шнобельт, речи которого изобилуют не только косвенными цитатами из Маркса, Бакунина и Лассаля, но и прямыми отсылками к Гете, Шиллеру, античной драме и народным песням. Кумир Шнобельта, Луис Лингг, напротив, не тратил времени на изящные искусства, схватывая отношения истины, красоты и справедливости самостоятельно и интуитивно. Лингг — агент витальной силы, не несет на себе рабской печати «цивилизованного вырождения», чем и обеспечен его личный магнетизм. Эта торжествующая витальность и инстинкт неповиновения напоминают о «Санине» Арцыбашева, изданном в те же годы, или о ницшевском «Заратустре», которым переболело все поколение Харриса. Могли быть, конечно, и другие литературные образцы, например тургеневский Базаров, которого Харрис сравнивал с Гамлетом и Дон Кихотом.

Один из отцов европейского анархизма, Пьер Жозеф Прудон, называл революционеров «досрочно освобожденными». «С помощью наших бомб из наших земных тюрем» — мог бы добавить к этому определению Луис Лингг, превративший свою предсмертную речь в полезную для сопротивления прокламацию. «Однажды! наше молчание станет громче наших слов» — написано на братской могиле казненных в Чикаго анархистов.

# Глава I

Держись, и пусть твой дух тебя ведет, И верь всегда, то — Истины! полет

Меня зовут Рудольф Шнобельт. Я бросил бомбу, которая в 1886 году в Чикаго убила восемь полицейских и ранила шестьдесят. Теперь я живу под чужим именем в Баварии в городке Рейхольц и умираю от чахотки, наконец-то обретая мир и покой.

Однако я хочу написать не о себе: со мной все кончено. Прошлой зимой я продрог до костей, и мне становилось все хуже и хуже на ненавистных широких белых улицах мюнхенского пригорода, прокаленных солнцем и выметенных холодным ветром с Альп. Природа или человек вскоре распорядятся моими останками по своему усмотрению.

Но кое-что я еще должен сделать до своего ухода, я обещал это. Я должен рассказать о человеке, который сеял ужас по всей Америке; полагаю, это был величайший человек из когда-либо живших на земле, природный бунтарь, убийца и мученик. Если мне удастся создать правдивый портрет чикагского анархиста Луиса Лингга, каким я знал его, воссоздать его душу и облик, а также величайшую цель его жизни, то я сделаю для человечества больше, чем когда бросил бомбу. . .

С чего начать? Неужели возможно словами нарисовать великого человека, показать, как хладнокровно он подсчитывает свои силы, как безошибочно принимает решения, как по-тигриному нападает? Самое лучшее, что я могу сделать, так это начать с начала и рассказать без прикрас, как все было. «Правда, — сказал мне однажды Лингг, — это скелет, поверь мне, всех великих произведений искусства». Кроме того, память сама по себе художник. Реальные события останутся в прошлом, со временем забудутся подробности и в памяти останется лишь главное.

Наверное, нарисовать портрет этого человека будет не очень трудно. Я не имею в виду, будто я настоящий писатель, но я читал кое-кого из великих писателей и знаю, как они рисуют человека, поэтому мои слабости выше всего того, что любой писатель сделал для своей модели. Боже мой! Если бы Лингг мог вернуться и посмотреть на меня, протянуть мне руки, я встал бы с кровати и выздоровел, оправился от кашля и пота и смертельной слабости, избавился от своей болезни. В нем было достаточно силы, чтобы вдохнуть жизнь в мертвеца, и достаточно страсти, чтобы ее хватило на сотню человек. . .

Я многому, очень многому научился у него; и больше всего, как ни странно это звучит, после его гибели. В последние одинокие месяцы я много читал и много думал; и все мое чтение проходило под знаменем его слов, которые я вспоминал и которые сложное делали простым. Мне часто приходило в голову, почему я не оценил ту или иную фразу в свое время. Но память сберегла их для меня, и когда пришло время, скорее, когда я достаточно созрел для них, я

стал вспоминать и понимать их значение, так что в Лингге источник моего роста.

Хуже то, что вначале мне придется рассказать о себе, о своем детстве, а это совсем неинтересно; но ничего не поделаешь. Если я — зеркало, в котором читатель должен увидеть Лингга, то моя задача убедить его в том, что зеркало чистое, не искажает правду и не уродует ее.

Родился я недалеко от Мюнхена в небольшой деревушке под названием Линдау. У моего отца был чин оберфорстера, то есть главного чиновника в лесном департаменте. Мама умерла рано. Меня вырастили довольно здоровым в нелегких условиях германских гор. В шесть лет я начал учиться в деревенской школе. А так как одет я был лучше большинства моих одноклассников и поскольку время от времени мне дарили несколько пфеннигов, то и считал себя лучше них. Кстати, и учитель ни разу не ударил и не выбранил меня. Наверное, я был ужасным снобом. Помнится, мне очень нравилось мое имя — Рудольф. Были ведь и короли Рудольфы, а вот фамилию Шнобельт я ненавидел, до того она казалась мне обычной и вульгарной.

Когда мне исполнилось лет двенадцать-тринадцать, мое образование в деревенской школе закончилось. Отец хотел, чтобы я продолжал обучение в мюнхенской гимназии, хотя ему было жалко денег. Когда он не пил и не работал, то читал мне нотации о том, как дорого стоит мое обучение, и я искренне верил ему. Никогда он не выказывал особой любви ко мне, поэтому я без особых сожалений отправился в большой мир, чтобы испытать свои крылья в долгом полете.

Именно тогда мне в первый раз открылась красота природы. К югу от гор наша долина плавно переходила в равнину, и, глядя на Мюнхен, нельзя было не видеть полей, окрашенных в разные цвета набравшими силу хлебами. Однажды вечером словно шоры упали с моих глаз. И я, увидев поросшие соснами горы, голубовато-туманную равнину и золотистый свет заходящего солнца, застыл в немом удивлении.

Как получилось, что прежде я не замечал эту красоту?

Итак, я отправился в гимназию. Полагаю, я был послушным и обучаемым: у нас, немцев, эти овечьи добродетели в крови. Однако, читая греческих и римских авторов, я вдохновлялся их мыслями и мыслителями, а потом поэт Гейне пробудил во мне недоверие к детским сказкам. Гейне стал моим первым учителем, и от него я узнал больше, чем в школе: это он открыл мне дверь в современный мир. Когда я закончил гимназию и покинул ее, подобно Бисмарку, свободолюбцем и республиканцем, мне исполнилось восемнадцать лет.

Каникулы я обычно проводил дома, в Линдау, однако быть рядом с отцом становилось все нестерпимее. Весь день он был на работе. Он работал, и только это я могу сказать в его пользу; но дома оставалась девушка, которая прибиралась у нас и важничала передо мной. Бедняжка не очень-то была виновата, только мне это не нравилось, ведь я тогда был снобом и не выносил ее манеру



себя вести. Но стоило мне поговорить с Сьюзел, как вечером отец устраивал мне скандал, и, надо сказать, слов он не выбирал, особенно если бывал пьян. Кажется, я злил его: мыслями мы были на разных полюсах. Даже ругаясь и чертыхаясь, он оставался благоверным лютеранином, а его покорность вышестоящим могла сравниться только с грубостью по отношению к нижестоящим. Его покорность и услужливость были так же отвратительны моему едва народившемуся мужскому достоинству, как жестокость к подчиненным и звериное пьянство.

Несколько несчастливых месяцев я был совершенно свободен и очень горд собой и своими ничтожными школьными достижениями; но я не знал, что делать дальше, какую профессию выбрать. Кроме того, между мной и моими будущими занятиями стоял год армейской службы, но одна мысль о рабстве была невыразимо ненавистна мне. Я ненавидел форму, ливрею убийства, ненавидел дисциплину, превращающую человека в машину, ненавидел приказы, которые мне придется исполнять, даже самые нелепые из них, ненавидел безумие убивающей душу системы. Почему я, немец, должен воевать с французами, русскими, англичанами? Нет, я был не против защищать себя или свою страну в случае нападения; правда, я не сомневался, что милиции типа швейцарской гвардии хватит для этой цели. Мне нравились французы, ведь их любил мой учитель Гейне; я говорил себе: это великая культура, это нация, которая стоит в первых рядах нашей цивилизации; мне нравились русские, умные, симпатичные, добрые люди; и я обожал авантюристов-англичан. Расовые различия были так же приятны мне, как видовые различия у цветов. Войны и звания принадлежали темному прошлому, детству человечества; неужели нам никогда не стать просто людьми и братьями? Нам, смертным, думал я, надо учиться, как бороться с болезнями и смертью, а не друг с другом; мы должны покорять природу и подчинять себе ее законы, и в этой «войне» мудрость и смелость максимально проявят себя в деле гуманизации человека.

Подобные мысли разгоняли вокруг меня тьму, однако не до конца. Я был не в ладах со своим окружением; презирал бессмысленную жизнь, так называемое аристократическое устройство общества; кроме того, мой отец не желал больше давать мне денег; я стал для него обузой; и в этом состоянии нестерпимой зависимости и тревоги я обратил свои взоры на Америку. Во мне крепло желание найти денег и эмигрировать; казалось, новые земли манят меня. Мне захотелось стать писателем или учителем; мне захотелось повидать мир, набраться жизненного опыта; мне захотелось свободы, любви, почестей, всего того, о чем в душе бредят юноши; у меня кипела кровь . . .

Как-то мы крупно поспорили с отцом, и он сказал мне, что в моем возрасте сам зарабатывал себе на жизнь. Это определило наши дальнейшие отношения, тем более что как раз тогда у меня в ушах звучала песня Германа Гримма с такой строчкой: «Мы все стремимся к равенству пред Богом и законом, и в этом смысл истории людей». Как раз этого хотел и я, или думал, что хотел —

равенства — «Em uber Alles sich ausstreckendes Verlagen nach Gleichheit vor Gott und vor dem Gesetze . . .»

Боюсь, скажете, не так уж много в этой фразе; но я привожу ее тут, потому что она произвела на меня потрясающее впечатление. В первый раз мне пришло в голову, что равенство может быть мотивом чего угодно, не говоря уж о современной политике.

Через несколько дней после скандала я объявил отцу, что намерен отправиться в Америку, и спросил, не может ли он ссудить мне пятьсот марок (125\$) на дорогу до Нью-Йорка. Сумму в пятьсот марок я назвал, потому что он обещал мне столько на первый год моей учебы в университете. Я сказал ему, что беру эти деньги в долг, а не как подарок, и в конце концов получил их, потому что меня поддержала Сьюзел — такой доброты я никак не ожидал от нее и проникся стыдом и благодарностью. Однако Сьюзел не нужна была моя благодарность; ей просто хотелось избавиться от меня, как она сказала: если бы я остался, то был бы обузой для своего отца.

Четвертым классом я доехал до Гамбурга и через три дня был уже на корабле, в каюте третьего класса, где оказался единственным более или менее образованным человеком и большую часть времени провел в одиночестве, уча английский язык. Тем не менее пару знакомств я все-таки завел. Молодой парень Людвиг Хеншель работал на корабле официантом, но он успел поработать в Англии и считал Америку владением Тома Тиддлера<sup>1</sup>. Ему нравилось хвастаться и давать мне советы; и все-таки он был горд знакомством со мной из-за моей учености, а я терпел его, в основном потому, что его отношение ко мне льстило моему самолюбию.

Еще там был немец с севера, которого звали Рабен и который считал себя журналистом, хотя у него было больше самомнения, чем начитанности, и о настоящем образовании он мог только мечтать. Маленький, худенький, с серыми глазами и словно отбеленными ресницами и волосами, он обычно разговаривал возбужденным стаккато и имел обыкновение прямо смотреть в глаза. Внутренний голос подсказывал мне держаться от него подальше, но я так плохо знал жизнь, что принял его взгляд за доказательство абсолютной честности, да еще отругал свой внутренний голос. Знай я о нем тогда то, что узнал позже, я бы . . . Ладно, нечего попусту кулаками махать! Иуда не появляется среди людей с выжженным на лбу клеймом. Кажется, я не нравился Рабену. Вначале он попытался подружиться со мной, однако в каком-то споре привел латинскую цитату и понял, что я уловил ошибку. Тогда он стал держаться подальше и попытался увести с собой Хеншеля, но Людвиг лучше знал жизнь,

---

<sup>1</sup> Видимо, в связи со старой английской детской игрой в Тома Тиддлера: в ходе игры один из участников, играющий Тома Тиддлера, очерчивает себя на земле кругом владений, а другие игроки с криками вбегают в него: «Мы на земле Тома Тиддлера, собираем золото и серебро!» Том Тиддлер преследует их до черты, и тот, кто пойман, занимает его место.

чем книги, и признался мне, что не доверяет ни мужчинам, ни женщинам с белыми ресницами. Вот уж правда, мужчина что ребенок!

На корабле я свел знакомство также с Исааком Глюк-штейном, евреем из Лембурга, у которого не было денег, но который немножко знал английский язык и ни минуты не сомневался в своем будущем. «Через пять лет я разбогатею», — то и дело слетало с его языка. Пять лет! В книжку он не заглядывал, но все время пытался с кем-нибудь поговорить по-английски и к концу путешествия понимал английскую речь лучше меня, хотя не умел ни читать, ни писать по-английски, тогда как я читал с легкостью. . . Когда мы сошли на берег, он исчез из моей жизни, тем не менее мне известно, что он теперь знаменитый нью-йоркский банкир и сказочно богат. У него была единственная цель, и он был готов расшибиться в лепешку ради нее; в его случае страсть предсказывала победу.

Поздним вечером мы приблизились к Сэнди-Хук и утром уже бегали по Нью-Йорку. В тамошней спешке и толкотне, среди веселых возгласов и гула толпы я вдруг болезненно ощутил свое одиночество. Когда мы сошли на берег, то на поиски пристанища отправились вместе с Хеншелем, который тянулся ко мне, и благодаря его знанию английского языка и масонству его профессии нам очень скоро удалось найти комнату с питанием в восточной части города. На другой день мы с Хеншелем начали искать работу. У меня даже в мыслях не было, что я веселюсь, идя навстречу собственным бедам. Если я и пытаюсь сегодня вспомнить некоторые неприятности того времени, то лишь потому что они предвещают будущую трагедию. Никто и никогда не искал работу, настроившись решительнее и бодрее меня. Я решил, что буду работать изо всех сил; какая бы работа мне ни досталась, говорил я себе, я буду отдаваться ей целиком, отдаваться так, как никто другой. В школьной жизни мне не раз приходилось проверять эту установку на практике, и она всегда срабатывала. Я всегда выигрывал, будь то в начальной школе или в гимназии. Почему же ей не сработать в более широком жизненном соревновании? Ну и дураком я был.

В то первое утро в Америке я проснулся в пять часов и, одеваясь, повторял про себя английские фразы, которые могли мне понадобиться, пока они не начали соскакивать с моего языка автоматически. Когда в шесть часов я вышел на улицу, то испытывал мальчишеское возбуждение и готовность к борьбе. Майское утро было чистым и красивым; и воздух — теплым, но легким и подвижным. С первого мгновения я влюбился в широкие солнечные улицы. Быстро шагали люди, мимо ехали автомобили, бурлила жизнь, и у меня было на редкость веселое настроение.

Первым делом я отправился в офис широко известной американской газеты и сказал швейцару, что хочу видеть редактора. После того как я довольно долго прождал, мне сказали, что редактора нет.

— Когда он будет? — спросил я.

— Вечером, наверно, — ответил швейцар, — около одиннадцати. — С этими

словами он смерил меня взглядом с головы до ног. — Если у вас письмо к нему, то оставьте мне.

— У меня нет письма, — признался я робко.

— О, черт! — воскликнул он, не скрывая презрения. Тогда я не знал слова «черт» и напрасно рылся в памяти в поисках перевода. Сколько я ни повторял свои вопросы, добиться от тамошнего цербера мне ничего не удалось. Наконец, устав от моей назойливости, он закрыл дверь перед моим носом, бросив мне в лицо: «Сначала промой уши, желторотый».

Этот злой дурак рассердил меня: ну почему людям нравится быть грубыми? Наверное, их самолюбие щекочет то, что, как они ни малы, есть еще более малые, по отношению к которым они могут выразить свое презрение.

Я несколько скис от первой неудачи и, когда вновь вышел на улицу, солнце показалось мне куда более жарким, чем прежде; тем не менее я потащился в немецкую газету, о которой мне уже приходилось слышать, и опять спросил редактора. В привратнике я тотчас узнал немца, поэтому заговорил с ним по-немецки. Он ответил с южно-немецким акцентом и так холодно, что из его слов можно было бы сложить ледяной каток: «Ты можешь говорить по-американски?»

— Да, — ответил я, старательно выговаривая слова.

— Его нет, — прозвучал ответ. — И думаю, когда он придет, то не захочет тебя принять.

Его тон был хуже слов.

В первое утро я получил несколько подобных отказов, и еще до полудня мои запасы храбрости, или наглости, практически иссякли. Нигде я не встретил ни малейшей симпатии, ни малейшего желания помочь; к моим претензиям все относились с неизменным презрением и с удовольствием меня унижали.

Домой я возвратился более вымотанным, чем после трехдневной работы. Однако, поев, немного воспрял духом; моя решительность вновь возвратилась ко мне, и, несмотря на искушение остаться и поболтать с другими жильцами, я отправился к себе в комнату и стал заниматься. Хеншель не вернулся к обеду, и у меня появилась надежда, что он нашел работу. Как бы там ни было, мне требовалось побыстрее выучить английский язык, поэтому я взялся за дело и до шести часов, несмотря на жару, зубрил английские слова, а потом спустился вниз выпить чаю. Может быть, наши немецкие школы и не очень хороши, но, по крайней мере, они учат зубрить.

После ужина, как это называлось, я вернулся в свою комнату, которая все еще напоминала духовку, и без продыху занимался, устроившись у открытого окна, до полуночи, когда ко мне ворвался Хеншель и сообщил, что получил работу в большом ресторане и у него самые радужные надежды на будущее. Я не завидовал его удаче, однако она усугубила мое недовольство собой. Все же я рассказал ему, как меня принимали в газетах. Но он не мог дать мне совет, не мог даже как следует выслушать меня, до того он был во власти своего

успеха. Одних чаевых он получил десять долларов, но все они пошли в «общую кассу», как он объяснил, в общий котел, который делили официанты и старшие официанты в конце недели согласно установленной иерархии. Зарабатывать он будет, как он уже подсчитал, от сорока до пятидесяти долларов в неделю. От мысли, что я, хоть и проучился семь лет, не смог вообще найти работу, мне было очень неприятно.

Когда он выговорился, я лег спать, но еще довольно долго предавался грустным размышлениям, не в силах заснуть. Мне казалось, что было бы гораздо лучше, если бы меня обучили какому-нибудь ремеслу вместо того, чтобы давать никому не нужное образование. Потом я узнал, что будь я каменщиком, плотником, водопроводчиком, маляром, то получил бы работу, как Хеншель, едва приехав в Нью-Йорк. Америке не очень-то нужны люди с образованием, но без денег и без профессии.

На другой день я опять отправился на поиски работы, и так же безуспешно. Это продолжалось шесть или семь дней, пока не закончилась неделя и не наступил срок платить за комнату — пять долларов — из моих запасов, то есть из сорока пяти долларов. Еще восемь недель, сказал я себе, и потом — при этой мысли меня обуял страх, позорный страх, ничего не оставивший от моего бывшего самоуважения.

Вторая неделя прошла в точности так же, как первая. Однако в воскресенье Хеншель, получивший выходной, повез меня на пароходе в Джерси-Сити; у нас состоялся серьезный разговор. Я рассказал ему, что делал, как старался найти работу и как все было напрасно. Тогда Хеншель утешил меня тем, что обещал держать глаза и уши открытыми на случай, если поблизости окажется писатель или редактор, и тогда уж он замолвит за меня словечко. Нельзя сказать, чтобы мне сразу стало спокойнее. Однако отдых, поездка вновь внушили мне мужество, и когда мы вернулись домой, я сказал Хеншелю, что по редакциям больше бегать не буду, а на следующей неделе попытаю счастья на железной дороге или в трамвайном депо, или в каком-нибудь немецком доме, где говорят по-английски. Пролетели еще две недели. Я побывал в сотнях офисов, но везде встречал отказ, даже грубый отказ. Я заглянул во все трамвайные депо, на все железнодорожные вокзалы — напрасно. У меня оставалось всего-навсего тридцать долларов. Страх будущего превращался в горькую ярость и портил мне кровь. Странно, но короткий разговор, который был у меня с Глюкштейном на пароходе, часто вспоминался мне. Однажды я спросил его, с чего он собирается начать свое обогащение.

— Наймусь на работу в большую фирму, — ответил он.

— Но как, где?

— Похожу, поспрашиваю. Где-то в Нью-Йорке есть фирма, которая так же жаждет заполучить меня, как я — ее, и я собираюсь отыскать эту фирму.

Его слова застряли в моей памяти и укрепили во мне стремление во что бы то ни стало преуспеть.

Одно обстоятельство привлекло мое внимание и показалось мне странным. За три — четыре недели, проведенные в Нью-Йорке, я лучше освоил язык, чем за месяцы и годы, что учил его прежде. Похоже, память глубже впитывает в себя впечатления по мере того, как страх лишает покоя. В конце первого месяца моего пребывания в Америке я уже довольно свободно болтал, хотя, несомненно, с немецким акцентом. К тому же я прочитал немало романов, и Теккерея и других авторов, да еще около полудюжины пьес Шекспира. Проходили неделя за неделей, мой запас долларов истощался, и наконец я остался без ничего — без денег и без работы. Мне не передать, как я мучался от разочарования и отчаяния. К счастью для состояния моего рассудка, унижение переполнило меня яростью, а ярость и страх соединились в такую горечь, которая пробуждала во мне настоящую ненависть. Когда я видел богатых людей, входивших в рестораны или катавшихся в Центральном парке, у меня появлялись убийственные мысли. Эти люди за минуту тратили столько, сколько я просил за недельную работу. Но самое ужасное было то, что никто не нуждался ни во мне, ни в моей работе. «Даже лошади и то все работают, — говорил я себе, — а тысячи людей, которые являют собой куда более надежную рабочую скотину, чем лошади, никак не используются. Какие бессмысленные затраты!» И один вывод глубоко засел у меня в голове: что-то не так в обществе, в котором не находится применения умной голове и жаждущим работы рукам.

Я решил заложить серебряные часы, которые отец подарил мне на прощание, и полученными деньгами расплатиться за кров и хлеб. Прошла еще одна неделя, работы не было, и заложить тоже было нечего. От хозяина я уже знал, что не стоит даже заикаться о кредите. «Плати или убирайся», — любил повторять он. Плати! Может быть, сдать кровь?

Я не знал, как побороть отчаяние. Ненависть и ярость клокотали у меня в душе. Я был готов на все. Вот так, сказал я себе, общество плодит преступников. Но я не знал даже, как подступиться к преступлению, куда идти, поэтому, едва Хеншель переступил порог, спросил его, не может ли он помочь мне, чтобы меня взяли официантом.

— Но ведь ты не официант.

— Разве не все могут быть официантами? — изумился я.

— Нет, конечно же, — с раздражением произнес он. — Если у тебя столик на шесть человек и все заказывают разные супы, а потом трое заказывают один сорт рыбы и трое еще три сорта и так далее, ты не сможешь это запомнить и донести до кухни. Поверь, требуется много практики и хорошая память, чтобы служить официантом. Да и мозги не помешают. А ты сумеешь донести до столика поднос с шестью полными тарелками, держа его над головой, потому что другие официанты шныряют туда-сюда, и при этом не пролить ни капли?

Отличный аргумент: «Мозги не помешают». Что на него ответишь?

— А помощником тоже нельзя?

— Тогда ты будешь получать всего семь — восемь долларов в неделю, — отве-

тил Хеншель, — но даже помощники, как правило, знают ремесло официанта, правда, они не знают английского языка.

Облако уныния стало еще гуще; все дороги были закрыты для меня. И все-таки надо было что-то делать, потому что у меня совсем не осталось денег, ни одного доллара. Что же делать? Занять у Хеншеля? Я покраснел. Так получилось, что я всегда смотрел на него, хорошего в общем-то парня, свысока, как на низшее существо, а теперь . . . и все же ничего другого мне не оставалось. Я должен был это сделать. И сам презирал себя за это. Как бы то ни было, я чувствовал зависть к Хеншелю и его положению, словно он был виноват в моем унижении. До чего же мы, люди, злые. Я попросил у Хеншеля всего пять долларов, чтобы заплатить хозяину комнаты, и он с готовностью дал их мне, хотя, как мне показалось, ему это не понравилось. Возможно, во мне говорило раненое самолюбие, однако меня словно огнем обожгло, когда я брал деньги. Тогда я решил, что должен на следующий день найти работу, любую работу, просто пойду по улицам, буду всех спрашивать. В ту ночь я почти не спал; от ярости даже лежать не мог спокойно, поэтому встал и ходил из угла в угол, словно зверь в норе.

Утром я надел самое плохонькое, что у меня было, и отправился в доки искать себе применения. Как ни странно, никто не обратил внимания на мой акцент, но, все еще оставаясь чужаком, именно там я ощутил доброе участие, которые напрасно искал прежде. Невежественные рабочие — ирландцы, норвежцы, цветные — были готовы помочь, чем могли. Они показали, куда надо идти, чтобы спросить о работе, рассказали, каков из себя босс, когда и как лучше разговаривать с ним. В каждом рукопожатии я находил утешение, но работы все не было и не было. Как низко я тогда упал? В ту неделю я узнал достаточно, чтобы заложить свой воскресный костюм. За него я получил пятнадцать долларов, заплатил за комнату, отдал долг Хеншелю и напрямик отправился в тот дом, где жили рабочие и где надо было платить три доллара в неделю. Хеншель просил меня остаться, обещал помогать, однако моя гордость не могла этого вынести, поэтому я написал ему адрес — вдруг он услышит о чем-то подходящем для меня? — и ушел на дно пристойной рабочей жизни.

Новое жилище показалось мне вонючей дырой. Это был приземистый многоквартирный дом, сдаваемый покомнат-но иностранным рабочим. Можете есть вместе со всеми, можете сами готовить себе в комнате, на ваше усмотрение. Столовая вмещала человек тридцать, однако после ужина, продолжавшегося от семи до девяти, туда набивалось человек шестьдесят — курили, разговаривали на дюжине языков часов до десяти — одиннадцати. По большей части, это были рабочие, немытые, грязные, бесхитростные, и они научили меня, как получать случайную работу в доках, офисах, ресторанах — миллион разных работ большого города. Так я и жил несколько месяцев, три дня по три-четыре часа работая в одном месте, а потом начиная поиски новой работы на неполный рабочий день, и тоже на три-четыре дня.

Поначалу меня ужасно мучил стыд из-за незаслуженного унижения. Почему я упал так низко? Наверно, отчасти сам виноват. Раненое честолюбие обнажало нервы и усиливало дискомфорт. Потом наступило время, когда я смирился со своей участью и смиренно принимал все, как есть. Обычно я зарабатывал достаточно, чтобы продержаться полторы-две недели. Однако посреди зимы меня стали преследовать неудачи, и я скатился еще ниже — до ночлежки, голода и безысходного отчаяния. Зимой труднее найти работу, чем в любое другое время года. Получалось, будто природа присоединялась к человечеству, деморализовавшему и уничтожавшему бедняков. Полюбопытствуйте статистикой безработицы и обнаружите, что она выше всего зимой. Никогда мне не приходилось испытывать ничего, подобного холоду, ужасным бурям в Нью-Йорке, безоблачным ночам, когда ртутный шарик падает до отметки десять, а то и пятнадцать градусов ниже нуля, и холод пронизывает до костей — природа грозит смертью, а человек ведет себя еще хуже, чем всегда.

На моей стороне были юность, гордость, к тому же у меня не было пороков, стоивших денег, а иначе я бы сгинул в этом чистилище. Не один раз я всю ночь напролет бродил по улицам, одурманенный холодом и голодом; не один раз милосердие какой-нибудь женщины или рабочего парня возвращали мне жизнь и надежду. Лишь бедные могут по-настоящему помочь бедным. Я побывал в бездне и, вернувшись, не вынес ничего, кроме этого убеждения. В аду нечему учиться, разве что ненависти, а безработный иностранец в Нью-Йорке обречен на самый страшный ад. Но даже адский холод и адское одиночество время от времени исчезали под лучами простого человеческого сочувствия и доброты. Я не забыл ничего. Когда я проваливался в бездну, то первым делом шел к батареям: меня притягивало журчание воды, которое нескончаемой погребальной песней успокаивало боль. Часами я ходил туда-сюда или обхватывал себя руками, стараясь сохранить тепло и частенько радовался тому, что холод заставлял меня бегать, ведь когда быстро бежишь, мысли не такие горькие. Однажды вечером, по-видимому, я устал и засиделся на скамейке, потому что меня разбудил ирландец-полицейский.

—Иди, иди, тут нельзя спать, сам знаешь.

Я встал, но не мог сделать ни шагу, потому что от холода совсем обездвижел, к тому же я еще не совсем проснулся.

—Иди, иди, — сказал полицейский и подтолкнул меня.

—Как вы смеете его толкать? — услышал я визгливый женский голос. — Кому он тут мешает?

Это оказалась проститутка. Звали ее Бетси Ирландка. Она считала это место своей вотчиной и всегда была готова подраться за него, хотя из-за чего драться-то?

Полицейскому пришлось не по душе ее вмешательство, и он заодно обругал ее тоже. Как только я смог что-то произнести, то попросил Бетси не вступаться за меня, мол, я уйду, и в самом деле пошел прочь, однако Бетси догнала меня



и сунула доллар мне в руку.

— Я не могу взять деньги, — сказал я, возвращая доллар.

— Почему это? — возмутилась она. — Тебе он сейчас нужнее. А мне понадобится, я скажу, и ты отдашь долг, черт тебя побери! Бери в долг, ясно?

Бедняжка Бетси! Она была гением доброты, и потом, когда дела у меня наладились, я всегда помогал ей, чем мог, постепенно узнав ее печальную историю. Ее грехом была любовь, одна лишь любовь. Она совершила ошибку, которая навлекла на нее и презрение, и наказание, вот только сама она себя не презирала. Бетси считала себя невинной жертвой нашей жизни; наверное, так оно и было, ведь она сохранила сердечную доброту.

Еще одна сцена: три или четыре ночи подряд я спал в одном месте, где постель стоила десять центов, и, когда однажды утром около половины шестого встал и собрался идти на холод, твердокаменный янки, державший это заведение, вдруг спросил:

— Где ты будешь завтракать?

— А тебе какое дело?

— Никакого. Просто у меня есть горячий кофе, и если у тебя найдется чашка, милости прошу.

Тон у него был безразлично-грубоватый, но взгляд растопил лед у меня на сердце, и я последовал за ним в его конуру. Он налил кофе и поставил передо мной кипящую чашку, положив рядом бисквиты и бекон, так что через десять минут я вновь стал человеком, вновь вспомнил о человеческом достоинстве и человеческих надеждах, ко мне вернулись силы.

— Вы часто так завтракаете? — улыбаясь, спросил я.

— Иногда, — ответил он.

Я поблагодарил его за доброту и уже собирался уйти, как он сказал, не глядя на меня:

— Если не найдешь работу сегодня, все равно приходи, я не возьму с тебя денег, ты понял? — Я в изумлении уставился на него, и он, по-видимому, решил как-то оправдать свою слабость. — Если человек встает в такую рань и идет на мороз, когда еще нет шести, значит, он хочет работать, а кто хочет работать, обязательно что-нибудь найдет, рано или поздно. И мне хочется помочь такому человеку, — добавил он с чувством.

За несколько недель я хорошо узнал Джейка Рэмсдена; он был с виду неприступен и молчалив, подобно своим родным горам, но добр в душе.

Трудно представить, как я пережил те семь месяцев жуткой зимы; но как-то мне это удалось, и когда началась весна, у меня даже оказалось несколько долларов, так что я вернулся в прежнюю мебелирашку, где платил три доллара, и там помылся, вернув себе приличный вид. На эту конуру я теперь смотрел как на роскошный отель. Зима многому меня научила, но, главное, научила тому, что как бы несчастен ни был человек, есть другие еще более обделенные судьбой: человеческие беды — что бескрайнее море.

Зато благодаря этому учишься сочувствию и мужеству. Полагаю, что тяжкий опыт сделал меня лучше, а не хуже, хотя в то время я думал, что набил мозоли на разуме так же, как на ладони, и вообще загрубел во всех смыслах. Но теперь мне ясно, я стал тем, кем я стал, в результате того зимнего опыта — меня создала та зима: что бы со мной ни произошло, я до конца дней буду носить на себе следы тогдашней борьбы за жизнь и тогдашних страданий. Жаль, не могу сказать, будто вся моя боль обратилась в жалость к другим людям, горечь-то никуда не денешь?

Еще один эпизод из того времени — и я смогу перейти к тому, как вылез из бездны на солнечный свет. Однажды вечером в нашей столовой некий англичанин случайно упомянул, что можно получить работу на Бруклин-бридж. Я не поверил своим ушам, ведь я все еще искал постоянную работу, хотя уже почти не рассчитывал ее найти; а этот человек продолжал: «Им нужны люди на две смены по два часа в смену, и платят они хорошо: пять долларов в день».

— Работа постоянная? — дрожащим голосом переспросил я.

— В общем да, — ответил он, внимательно оглядев меня. — Но немногие могут с ней справиться, там сжатый воздух.

Оказалось, он пытался и не выдержал, однако это не охладило мой пыл. Узнав от него, когда надо прийти, рано утром, еще не было шести, я отправился в путь. Правда, мне вспомнились слова англичанина, сказанные накануне: «Немногие выдерживают, через три месяца всех скручивает». Но все равно я чувствовал радость: если другие могут, то смогу и я.

Полагаю, все знают, что такое работать в кессоне на дне реки, на глубине пятидесяти футов под водой. Сам кессон — огромное железное сооружение в виде колокола; наверху — помещение, называвшееся кладовкой, через которое рабочие выходили из воды на воздух. На боку кессона еще одно помещение, называвшееся воздуходувкой. В сам кессон закачивается сжатый воздух, чтобы в него не проникла вода. Рабочие перед сменой проходят через воздуходувку, где принаравливаются к подводным условиям, и после смены проходят через нее же, привыкая к нормальной атмосфере.

Естественно, мне сказали, что я буду чувствовать; но когда я оказался в воздуходувке вместе с остальными рабочими, когда дверь закрылась и один за другим стали включаться краны, впуская внутрь сжатый воздух из кессона, я с трудом сдержал крик — такая боль пронзила мне уши. У некоторых даже лопаются барабанные перепонки; люди выходят оглохшими или полуглухими, но с сильными болями в ушах. Единственный способ уберечь себя, как я быстро понял, заключается в том, чтобы глотать-глотать воздух, запихивая его в евстахиевы трубы в среднем ухе, чтобы уменьшить нагрузку на барабанные перепонки. Во время загрузки помещения воздухом кровь абсорбирует воздушные газы, пока их давление в крови не станет равным давлению в воздухе; и когда достигается это равенство, люди могут работать в кессоне часами, не испытывая никаких неудобств.

Потребовалось около получаса, чтобы довести нас до нужного состояния, и как раз эти первые полчаса оказались самыми трудными. Когда давление уравновесилось, дверь открылась сама по себе, или кто-то нажал на кнопку, и мы все спустились по лестнице на речное дно, чтобы приступить к работе, то есть копать землю и поднимать ее на специальных лифтах в кладовку. Сама по себе работа не тяжелая; правда, было очень жарко, но так как мы работали почти голыми, то это не имело значения; если честно, я даже был приятно удивлен. Разве что шум стоял невообразимый; и когда я наклонялся, мне казалось, у меня лопнет голова. Два часа пройдут быстро, говорил я себе, а пять долларов за два часа — хорошие деньги; за пятнадцать дней я заработаю столько же, сколько привез в Нью-Йорк, а там поглядим; и я продолжал работать с болью в голове и ушах, с головокружением и в адской жаре.

Наконец смена подошла к концу, и один за другим, тяжело дыша, мы поднялись в воздуходувку и там узнали, что такое «декомпрессия». Едва мы закрыли дверь и повернули краны, чтобы выпустить воздух, как стали дрожать, потому что обычный воздух был холодным и влажным. Словно поток ледяной воды пролился в горячую ванну. Я заметил, что некоторые рабочие, входя в воздуходувку, торопливо натягивают на себя теплые вещи, и мгновенно сообразил почему. Тогда я тоже постарался побыстрее надеть рубашку и все остальное, однако воздух становился все холодней и холодней, сырей и сырей, и я чувствовал, что слабею, что у меня кружится голова и рвота подступает к горлу. Наверное, газы выходили из крови, когда давление снижалось. Через час мы были «декомпрессированы» и, дрожа всем телом, вышли из воздуходувки в мокрый желтый туман, пронизывавший до костей.

Только представьте. Мы работали два часа в духоте, еще два часа «компрессировались» и «декомпрессировались», получается четыре часа, так что два часа смены получались как полный рабочий день — да еще какой день! Большинство тотчас выпивало по стакану «крепкого», двое-трое сделали это перед выходом. А я выпил горячего какао, и правильно сделал! Оно сразу придало мне сил не хуже спиртного, и я избавился от отвратительного ощущения холода и депрессии. Надо ли было выдерживать это? Но мне ничего не оставалось, как идти вперед и надеяться на лучшее.

Мне хотелось поесть и полежать на солнце, пока я не согреюсь и не наберусь сил, однако перед второй сменой у меня все еще болели голова и уши, и я чувствовал небольшое головокружение.

Вторая смена показалась мне ужаснее первой, бесконечной. С компрессией я немного освоился, научился забивать воздух в уши, чтобы на них поменьше действовало давление, правда, стоило мне позабыть о том, как надо дышать, и я тотчас получал болезненный спазм. Работа в кессоне не была нестерпимой, не требовалось высокой скорости, да и к жару я притерпелся. Зато «декомпрессию» опять перенес с трудом. После нее я дрожал, как мокрая крыса, зуб не попадал на зуб. Я лишь хрипел и не мог ничего сказать, поэтому легко дал

уговорить себя и выпил, но решил, что не начну пить, лучше возьму с собой толстое шерстяное нижнее белье, все, что у меня осталось от дома. К себе я вернулся без сил и с такой болью в ушах и голове, что с трудом поел, а вот заснуть не смог.

Ужас от одной мысли, что меня вышвырнут вон, заставил меня работать в следующий день и в последующий тоже. Не знаю уж, как я работал; однако моментально вспомнил о жизни и забыл о боли, едва гигант-швейцарец упал однажды утром, словно стараясь завязать в узел руки и ноги. Мне никогда не приходилось видеть ничего более ужасного, чем несчастный, весь перекрученный, потерявший сознание великан. Прежде чем мы успели поднять его и отправить в больницу, он был весь в крови, и смотрел на меня мертвыми глазами. «Что это?» — крикнул я. «Конвульсии», — ответил один из рабочих, пожимая плечами.

Едва мы вышли из воздуходувки и оказались в комнате, где у нас хранились одежда, еда и все остальное, как я начал расспрашивать насчет конвульсий. Оказалось, никто не работал под водой больше двух-трех месяцев, не испытывал на себе такой приступ. Но, отлежавшись две недели, человек не возвращал себе былую силу.

— А боссы платят за эти две недели? — спросил я.

— Еще как платят! — издевательски произнес один из рабочих. — Везут прямо на Пятую авеню и оплачивают отдых.

— Значит, здесь больше трех месяцев нельзя работать?

— Я проработал дольше, — сказал другой рабочий, — но надо вести себя очень осторожно и не пить. К тому же, я худой и переношу все лучше, чем такие, как ты.

— Они могли бы облегчить нам жизнь, — вмешался третий, — все знают, если накачивать десять тысяч футов свежего воздуха в кессон, с нами все будет в порядке<sup>2</sup>, а они дают нам всего тысячу футов. За свои проклятые пять долларов они покупают не нашу работу, а нашу жизнь!

Я обратил внимание, что мои товарищи старались держаться наособицу. Они редко разговаривали друг с другом; молча работали; молча шли на работу, и едва мы оказывались наверху, старались поскорее и так же молча разойтись по домам. Мне стало страшно, у меня не было уверенности, что мне удастся одолеть общую участь. В конце концов меня можно было назвать сильным, но не таким сильным, как молодой швейцарец, которого я видел в конвульсиях, словно раздавленную змею. Тем не менее я решил не думать об этом и на следующий день вновь вышел на работу, как ни в чем не бывало.

---

<sup>2</sup> Этот рабочий был прав. Болезнь поражала больше 80% людей, работавших в кессоне, каждые три месяца, когда подавалось 1500 кубических футов воздуха в час, а теперь эта цифра упала до 8%, когда подача свежего воздуха увеличилась до 10 000 кубических футов в час. — Примеч. ред. издания 1963 г.

Я отработал в кессоне две недели, когда мне довелось увидеть ужасный пример чудовищного безрассудства. Молодой американец спускался с нами на дно уже дня два-три, и в тот день он решил выйти на поверхность, минуя деком-пресссионную камеру, как он сказал, потому что не хотел опоздать на свидание с девушкой; так вот, он влез в лифт, поднимавший наверх землю, оказался в кладовке, а там и наверху в течение пяти минут. Когда мы часом позже, как положено, вышли наружу, то увидели его распростертым на полу, а рядом врача. Парень был без сознания, дышал хрипло, с натугой, губы у него вздувались и опадали. Он умер через несколько минут после того, как мы появились. Мне это показалось ужасным, но не таким ужасным, как конвульсии. В конце концов, парень знал, должен был знать, что идет на большой риск, а что до его смерти, то она показалась мне более желательной, чем ужасные физические страдания. Однако, так или иначе, оба случая убедили меня в том, что пора кончать с этой работой. Я решил дотерпеть, если буду в силах, до конца месяца, а потом уйти, и я это сделал.

Еще не закончился месяц, когда я почувствовал себя слабым и больным: я не спал, разве что урывками, и практически не мог избавиться от боли; тем не менее месяц отработал, получил свои сто сорок долларов и взял двухнедельный отпуск.

Все свободное время, если выпадала возможность, я проводил с Хеншелем; обычно у него были три-четыре свободных часа, и мы отправлялись в Джерси-Сити или в Хобокен, чтобы искупаться, или на Лонг-Айленд, где было много воздуха и много солнца. К концу второй недели я уже чувствовал себя, как прежде, но время от времени у меня все же болели уши и голова, напомиавшие мне о Бруклинском мосте. Я не вернулся туда; хватит, отдал все, что мог, подземным работам и больше не хотел рисковать, так я думал тогда. Даже инженеры, которые не занимались физическим трудом, зарабатывали по четыре сотни в месяц, всего лишь отдавая указания, что и как делать, и им не приходилось быть внизу, как нам, больше двух часов. А люди, которые выполняли самую тяжелую работу, которые проводили в кессоне по две смены в день, получали меньше денег, чем другие. В юности все дается легко, и я быстро утешился; в конце концов я поработал, у меня были деньги и через две недели я собирался опять всерьез заняться поиском работы, правда, я был как никогда вялым после двухнедельного ничегонеделанья.

Миновали несколько дней, и я услышал о другой работе, на этот раз получше, но все же тяжелой и непостоянной. Однако она может стать началом, сказал я себе, и поспешил по указанному мне адресу. Недалеко от доков прокладывали новую газовую трубу, и работой руководил ирландский подрядчик. Он внимательно посмотрел на меня.

— Не приходилось много работать?

— Не приходилось до последнего времени, — ответил я, — но я буду стараться и покажу себя не хуже любого другого.

— Сначала поработаешь полдня, а там посмотрим. Было девять часов утра. Я знал, что он надувает меня, но

сказал: «Конечно», — и сердце у меня подпрыгнуло, почуяв надежду на будущее. Через десять минут у меня в руках уже была кирка и за мной был закреплен участок. Боже, вот это счастье, наконец-то постоянная работа да еще на открытом воздухе! Вновь я почувствовал себя человеком, у которого есть место на этой земле. Однако радость оказалась недолгой. В начале июля солнце палило как бешеное; наверное, я слишком рьяно взялся за дело, потому что уже через полчаса весь взмок, даже штаны стали мокрыми, и руки жутко саднили; за две недели отдыха с них сошли мозоли. Один из рабочих, человек довольно пожилой, решил помочь мне советом. Это был ирландец с хитрыми серыми глазами, который сказал мне:

— Не надо втыкать кирку в землю так, словно ты хочешь добраться до Австралии. Полегче, парень, чтобы завтра у нас тоже была работа.

Остальные рассмеялись. Совет мне понравился, и я стал подражать остальным рабочим, перенимая их опыт, как правильно копать и не тратить лишние силы. После обеда, когда мы вновь вернулись к работе, спина у меня болела так, словно мне сломали хребет, но я все равно не ушел, и под конец смены даже получил одобрение босса.

— Первую неделю будешь получать два доллара в день, — пробурчал он. — С такими руками ты большего не стоишь.

Возразить я не посмел.

— Ладно, — мрачно проговорил я.

— Приходи ровно в шесть, — продолжал он. — Опоздаешь на пять минут, не засчитаю полдня, имей в виду.

Я кивнул, и он отправился дальше. Идя домой, я чувствовал себя усталым, но в душе был счастлив, очень счастлив. У меня появилось довольное чувство, что я сумел заработать на один день жизни, даже немножко больше, киркой и лопатой, а такой работы в Америке еще много. В юности трудно быть пессимистом и постоянно предаваться отчаянию: гораздо легче надеяться на лучшее, чем прятаться от жизни. Проработав одну неделю, как я подсчитал, я смогу продержаться три-четыре недели, и от этого у меня становилось легко на душе.

В тот вечер я позволил себе лишнее на ужин и выпил бесчисленное количество чашек так называемого кофе, а потом отправился в постель и проспал с семи вечера до пяти утра. Зато, когда проснулся, чувствовал себя отлично, разве что все тело болело, и я не мог согнуться и разогнуться. Но я сказал себе, что скоро это пройдет. Хуже всего были ладони — все в болячках, которые трескались и ужасно болели. На другой день работать было одно мучение; еще до полудня все руки у меня были в крови; однако старый ирландец промыл их виски, и ранки немного затянулись. У меня было такое чувство, что он вылил мне на руки огонь, и оно сохранялось весь день. Еще три-четыре дня я мучился

от боли, руки у меня саднили хуже прежнего, однако, когда мои страдания дошли до такой степени, что мне стало трудно держать в руках лопату, тем более переворачивать ее, боль начала стихать, и к концу недели я уже мог работать наравне со всеми, не испытывая боли и усталости, о которых стоило бы упоминать.

Я был занят три недели, но на этом работа кончилась, и босс дал мне свой адрес в Бруклине, сказав, что если понадобится работа, я могу на него рассчитывать. Лишь меня одного он отметил таким образом. И опять у меня сердце подпрыгнуло от радости. Я поблагодарил его. По дороге домой я говорил себе, мол, постарайся немножко больше остальных, и работу легче получить. В следующий раз мы строили дорогу, и одного меня взяли из сотни желающих. Прошли несколько недель, и босс неожиданно сказал мне:

— Только не говори, что не стыдишься работать руками, у тебя ведь есть образование! Почему бы тебе не взять субконтракт?

— Это как?

— Очень просто. Слушай внимательно. Я получаю пять долларов за один ярд дороги и должен заработать на ней. Если ты хочешь взять пятьдесят ярдов или сто ярдов, я скажу тебе «да», но за четыре доллара за ярд. Зарабатывай сам, — хитро добавил он, — и давай заработать другим.

Я был ему очень благодарен, как мне помнится, до того благодарен, словно он благодетельствовал меня, чего на самом деле не было и в помине.

— А как мне платить рабочим?

— Твое дело, — ответил он равнодушно. Я немного подумал, но на другой день подписал контракт на сто ярдов и пошел набирать рабочих. Как ни странно, это оказалось делом нелегким, и мне удалось нанять лишь случайных людей, которые сегодня тут, а завтра их и след простыл — да и они не желали работать в полную силу. Их лень я решил возместить двойной сменой, и к концу недели у меня были пять-шесть работающих парней. Закончив с первыми пятьюдесятью ярдами, я был поражен заработанной суммой. Примерно сто долларов ушло на плату рабочим, и сто долларов осталось у меня.

Естественно, у меня голова пошла кругом от жадности, и босс отдал мне еще двести ярдов, но теперь мне не повезло. Стоял конец октября, постоянно шли дожди, потом ударил мороз и повалил снег. Вскоре я обнаружил, что должен подгонять рабочих, иначе пришлось бы довольствоваться малой прибылью или не иметь прибыли вообще. За двести ярдов я выручил столько же, сколько за первые пятьдесят. И все же за месяц я получил чистыми больше ста долларов, чем был очень доволен.

Однажды я разговаривал со старым ирландцем, с которым познакомился еще на предыдущей работе и который теперь работал на меня, и обмолвился, что, если мороз продержится, я потеряю много денег.

— Что это ты говоришь? — подозрительно переспросил он.

— Сейчас каждый ярд стоит мне четыре доллара, — уныло произнес я.

- Но ты же получаешь шесть или семь.
- Четыре.
- Тогда тебя надули, потому что ярд стоит восемь.

Я подумал, что он просто так сболтнул, и не обратил на его слова внимание. Все же я попытался улучшить условия договора, но у меня ничего не вышло; четыре доллара за ярд — бери или не бери.

Я взял еще двести ярдов за ту же цену, но удача совсем отвернулась от меня. Весь декабрь и январь стояли морозы, и то, что мы делали сегодня, приходилось переделывать завтра. В конце месяца оказалось, что я потерял пятьдесят долларов, хотя сам работал по шестнадцать часов в день. Тогда я пошел против босса и сказал ему, мол, не дело платить так мало, но он не пожелал дать ни цента свыше оговоренного в контракте и поклялся всеми богами, будто сам имеет лишь пять долларов, поэтому не может ничего накинуть на погоду. «Кто бы отказался от доброй лопаты и теплого солнышка?»

Теперь, когда я знал, чего стоит моя работа, я не поверил ему, взял выходной и вместе со старым ирландцем отправился выяснять правду. Выпив пару стаканчиков в ирландском салуне и поговорив с одним из руководителей демократической партии, я вскоре точно знал, что в контракте босса ярд стоит десять долларов; десять — хотя контракт был бы выгодным и за пять долларов. Кстати, выяснить мне удалось не только это. Босс запросил дополнительную плату из-за плохой погоды, и ему прибавили три доллара за ярд там, где я колошматился последние два месяца. Тогда-то я ясно понял, как люди богатеют. Вот вам и необразованный ирландец, делающий десять тысяч долларов в год на городском контракте. Правда, ему приходилось кое-что отстегивать представителям демократической партии, однако он всегда изображал «недо-тепу», как мне сказали, у которого вечно нет денег, поэтому вряд ли он терял на взятках больше пяти сотен.

Все это я выяснил в один день. Поблагодарив старого ирландца и угостив его выпивкой, я отправился к Хеншелю и провел с ним остаток дня. Он тоже обрадовался мне. Ему удалось свести знакомство с редактором «Vor\fflrts», сказал Хеншель, газеты нью-йоркских социалистов, и потребовал, чтобы я, не медля, отправился к доктору Голдсми-ту.

Настроение у меня было как раз, какое нужно. Мне даже думать не хотелось о возвращении к боссу-мошеннику; и в то же время я не мог позволить себе принять совет старого ирландца: «Теперь, когда ты все знаешь, прижми мошенника, и пусть он платит тебе семь долларов за ярд, или пригрози ему обо всем напечатать в газетах — он испугается».

Мне не хотелось пугать босса, но и не хотелось принимать участие в его воровстве. Я просто намеревался уйти от него и навсегда о нем забыть. В конце концов, у меня были две-три сотни долларов и достаточно опыта, требовавшего своего изложения на бумаге.

Вместе с Хеншелем мы отправились к доктору Голдсми-ту, и я увидел прият-



ного человека, еврея, получившего хорошее образование и довольно доброго, что сразу привлекло меня к нему. Он спросил, о чем я хотел бы написать, и я сказал, что у меня богатый опыт безработного, дорожного рабочего, а также я мог бы написать о социалистических взглядах Платона. Именно это я держал в голове, когда несколько месяцев назад начал свое хождение по редакциям. Теперь Платон и его «Республика» звучали странно даже для меня; ведь у меня теперь было кое-что получше на продажу. Голдсмит подумал так же, потому что он рассмеялся, услышав о Платоне, и, когда он рассмеялся, мне вдруг стало ясно, как много я передумал за год жизни в Нью-Йорке. Только теперь я осознал, что эмигрантская жизнь сделала из меня мужчину; и двенадцать или пятнадцать месяцев бесплодных поисков работы превратили меня в реформатора, если не бунтаря.

— Позвольте мне написать о том, через что я прошел, — сказал я Голдсмицу. — В конце концов, кирка и лопата не менее интересны, чем меч и кольчуга, и уж точно, рыцари былых времен, отправляясь драться с драконами, не встречали на своем пути такой ужас, как сжатый воздух.

— Сжатый воздух? — переспросил он. — О чем это вы? Ну же, рассказывайте.

У него оказался отличный нюх на сенсации, и я рассказал ему свою историю, однако я не мог остановиться только на своей работе в кессоне. Я рассказал ему практически обо всем, но как будто поучая его (в моей привычной немецкой манере), а не просто излагая факты; я рассказал ему о тяжелом, тем более тяжелом в американском климате, изнурительном физическом труде, превращающем человека в бездушную скотину. К вечеру устаешь так, что не можешь ни думать, ни интересоваться событиями, происходящими в мире. Рабочие редко читают газеты; их единственная духовная пища — воскресные газеты, в будние дни они работают, едят и спят. Условия труда в Америке таковы, что они формируют пролетариат, готовый взбунтоваться. Любому человеку нужен отдых, нужно время, чтобы наслаждаться жизнью. А у рабочего нет времени даже для того, чтобы восстановить силы. Он не смеет заикнуться о выходном дне, потому что может потерять работу, и уж тогда у него будет больше свободного времени, чем ему нужно.

Мои высказывания, похоже, задели доктора, однако его заклинило на кессоне.

— Напишите все, что хотите, о своей безработной жизни, — попросил он, — но закончите работой в кессоне. Кое-что мне об этом известно. Подрядчики получают примерно шестьдесят миллионов долларов, хотя, как я думаю, весь проект стоит не больше двадцати. Тем временем я наведу справки и прибавлю к вашей статье кое-какие цифры.

— Неужели можно сделать на контракте двести процентов? — спросил я, на мгновение забыв о своем ирландском боссе, который жаждал двойного барыша да еще «сколько обломится» на лжи.

— Конечно, — ответил Голдсмит. — Конкурентов, желающих получить боль-

шой заказ, немного, если они вообще есть, но два-три человека, которые хотят и могут работать, готовы к борьбе.

Вскоре мне стало ясно, что наша конкурентная система в сущности организованное надувательство.

Ушел я с твердым желанием написать целую серию статей. Пока я говорил с Голдсмитом, во мне окончательно созрело решение не возвращаться на дорогу; к тамошней бездумной, неинтересной, отупляющей работе и отвратительной коррупции. Всего час я беседовал с образованным человеком, и это навсегда отвратило меня от прежней жизни. Мне была ненавистна даже мысль о встрече с боссом, который нагло врал мне в лицо. Не надо мне встречаться с ним. Меня потянуло к книгам, к чистой одежде, к привычным занятиям науками.

Я снял комнаты в другом районе восточной части города, которые вместе с завтраком и чаем стоили десять долларов в неделю, и взялся за работу. Вскоре я обнаружил, что кирка и лопата в мороз и дождь практически лишили меня возможности работать пером. Мой мозг страдал от переутомления, я с трудом подбираю слова, и мне все время хотелось спать. Мыслительный процесс тоже требует упражнений, иначе он стопорится. Однако после пары недель я стал писать свободнее и за месяц сочинил серию статей на немецком языке о своем эмигрантском опыте, которые отослал Голдсмит. Статьи ему понравились, он даже сказал, что они замечательные, и дал мне за них сто долларов. Когда я получил его письмо, то понял, что наконец-то прибил к нужному берегу, нашел то, что мне требовалось. Мои статьи стали своего рода сенсацией, и, когда они вышли в свет в виде брошюры, я получил еще двести долларов. Еще три-четыре месяца мне не составляло труда, бродя по Нью-Йорку и оглядываясь кругом, находить темы для двух-трех статей в неделю. Правда, за них мне платили меньше, но после всего пережитого двадцать — двадцать пять долларов в неделю было больше чем достаточно для меня.

Кроме того, мне казалось, что я решил проблему. Мне ничего не стоило заработать себе на жизнь киркой и лопатой, если не получится пером. Я как будто стал хозяином своей судьбы.

Однажды по дороге в редакцию «Vorwärts» я натолкнулся на Рабена. Естественно, мы тотчас отправились в немецкий ресторанчик поблизости и заказали настоящий немецкий обед и много немецкого пива. Ему повезло почти сразу получить постоянную работу, однако зарабатывал он мало и сказал, что хочет перебраться в Чикаго, где платят больше, вот только не может бросить девушку, с которой познакомился в Нью-Йорке.

— Она настоящий персик, — проговорил он, и я в первый раз обратил внимание на его чувственные, толстые губы.

Пока он говорил, мне пришло в голову, что я тоже с удовольствием отправился бы на Запад открывать новые земли. Те проклятые месяцы, когда я не мог найти работу, заронили во мне неприязнь к Нью-Йорку. Глубоко внутри души все еще оставалось много горечи и обиды.

— Я бы тоже поехал в Чикаго, — сказал я Рабену. — Ты можешь с кем-нибудь меня познакомить?

— Конечно, — ответил тот. — С Огастом Спайсом, владельцем и редактором «Arbeiter Zeitung». Он отличный парень, тоже саксонец, из Дрездена, и наверняка возьмет тебя. Вы, южные немцы, все держитесь друг за друга.

Я попросил бумагу и ручку, и он при мне, в ресторанчике, написал рекомендательное письмо Спайсу.

В тот же вечер, кажется, я отправился к доктору Голд-смиту и спросил, могут ли я посылать ему раз в неделю статью из Чикаго о рынке труда, например, и мы тотчас договорились, что он будет платить десять долларов за статью в две колонки, то есть за две или три тысячи слов — не так уж и много. Однако его десять долларов спасали меня от нищеты, а это главное. На другой день я упаковал вещи и поехал в Чикаго.

## Глава II

Долгий путь на поезде и огромные пространства за окошком как будто отодвинули нью-йоркскую жизнь на задворки сознания. В Нью-Йорк я приплыл неотесанным юнцом, переполненным непонятными надеждами и непомерными амбициями; а покидал его мужчиной, который знал свои возможности, хотя еще не очень разбирался в своих желаниях. Чего я тогда хотел? Чтобы жизнь была полегче, а платили побольше — это было бы неплохо. Но чего еще? Бродя по улицам, я обратил внимание, что девушки и женщины в Нью-Йорке симпатичнее, утонченнее и лучше одеты, чем те, которых я привык видеть в Германии. У многих были черные глаза и волосы, а черные глаза влекли меня к себе неодолимо. Девушки выглядели гордыми и самоуверенными, казалось, не замечали меня, но это, как ни странно, еще сильнее влекло меня к ним. Теперь, когда борьба за выживание несколько ослабла, я попытаюсь, сказал я себе, познакомиться с какой-нибудь симпатичной девушкой и наверстать упущенное. Как получается, недоумевал я, что жизнь всегда дарит нам то, что мы хотим? Можно вообразить красавицу, придумать глаза, кожу, фигуру по своему вкусу, потом немножко потерпеть — и жизнь пошлет вам ваш идеал. В нашем мире сбываются все молитвы; и это одна из трагедий нашей жизни. Однако в то время я ничего такого не знал. Я просто сказал себе, что если могу без запинки говорить по-английски, то почему бы мне не влюбиться в какую-нибудь симпатичную девушку и не завоевать ее любовь. Конечно, еще надо узнать насчет положения рабочих в Чикаго, чего, собственно, от меня ждал Голдсмит в еженедельных статьях, значит, я должен научиться в совершенстве говорить и писать по-английски. В своих мыслях я уже называл себя американцем, до того сильно влекла меня к себе великая страна беззаботной свободы и кулачного равенства. В одном ее имени были и сила, и непохожесть на другие страны. Когда-нибудь я стану американцем; и в моем воображении появилось лицо девушки — утонченное, смуглое, вызывающее, своевольное. . .

За год работы на свежем воздухе я закалился как сталь. Теперь, стоило мне подумать о поцелуе или объятии, и я весь напрягался. Я даже осмотрел себя всего с головы до ног. Одет я был грубовато, но неплохо, ростом тоже не подкачал, примерно пять футов и девять дюймов, сбит крепко, плечи широкие, волосы светлые, глаза голубые, пробивающиеся усики как будто темно-золотистого цвета. Она тоже полюбит меня; она . . . у меня кровь вскипела в жилах, в висках застучали барабаны. Я встал и пошел по вагону, чтобы немного остудиться; я шел, не чуя под собой ног, не пропуская взглядом ни одну женщину. Надо было почитать, чтобы справиться с собой, но все равно еелицо не исчезало.

Проведя в поезде сорок часов, в Чикаго я приехал поздно вечером. Усталым, правда, я себя не чувствовал, поэтому, не желая даром тратить деньги, сразу отправился к Спайсу, оставив вещи в камере хранения. Спайс был в редакции

«Arbeiter Zeitung». Его кабинет показался мне меньше и скромнее, чем кабинет доктора Голдсмита, однако сам Спайс произвел на меня самое замечательное впечатление.

Физически это был красивый, хорошо сложенный человек немного выше меня ростом, хотя, наверное, не очень сильный. Чувствовалось, что он хорошо образован, а по-английски говорил, почти как на родном языке, хотя и с небольшим немецким акцентом. У него было приятное лицо, густые вьющиеся волосы, синие глаза и длинные усы, треугольная аккуратная борода подчеркивала треугольное строение его лица. Понемногу мне стало ясно, что он человек эмоциональный и сентиментальный. Кстати, у него был округлый мягкий подбородок, почти девичий. Встретил он меня с откровенной добротой, мгновенно меня очаровавшей; сказал, что читал мои статьи в «Vorwärts» и рассчитывает тоже получать от меня статьи. «Мы не богаты, — сказал он, — но я буду платить вам, и вы будете расти вместе с газетой», — со смехом добавил он.

Он предложил мне поужинать вместе, а когда я заметил, что еще не снял комнату, то воскликнул:

— Ну и прекрасно. У нас тут есть социалист Георг Энгель, у него магазин игрушек на полпути к вокзалу. И он говорил мне, что хотел бы сдать комнату. У него отличные две комнаты, насколько мне помнится, и, уверен, он понравится вам. Давайте прямо сейчас и пойдем к нему.

Я согласился, и мы отправились в путь, а Спайс с подкупающей откровенностью рассказывал мне о собственных планах и надеждах. Стоило мне увидеть Энгеля, и я сразу понял, что мы подружимся. У него было круглое полное доброе лицо (на вид ему было лет сорок пять — пятьдесят) и начинавшие редеть на макушке каштановые волосы. Он показал мне чистые тихие комнаты. Ему нравилось говорить по-немецки, к тому же он предложил взять у меня квитанции и самому получить вещи из камеры хранения, таким образом избавив меня от хлопот. Я поблагодарил его на нашем баварском диалекте, и на глазах у него выступили слезы.

— Ach du liebster Junge! (Ах, милый юноша!) — воскликнул он, пожимая мне руки.

Мне показалось, что я завоевал расположение друга Спайса, поэтому сказал, повернувшись к Спайсу:

— Почему бы нам теперь не поужинать?

Уже было довольно поздно, но он все же привел меня в немецкий ресторанчик, где нас отлично накормили. Интересный собеседник, Спайс отлично излагал свои мысли, был занимателен и убедителен. Кроме того, ему было известно о положении иностранных рабочих в Чикаго лучше, чем, возможно, кому-нибудь другому. Он искренне жалел их, искренне сочувствовал их страданиям.

Когда они приезжают сюда из Норвегии, Германии, или с юга России, —

говорил он, — первые два — три года их обманывают все, кому не лень. Они — легкая добыча, пока не научатся здешнему языку. Мне бы хотелось открыть тут для них Рабочее бюро, в котором они могли бы получать информацию на родном языке обо всем, что их интересует. Невежество делает их рабами — их можно, как голубей, брать голыми руками и ощипывать.

Трудно им живется? — спросил я.

Особенно зимой, — ответил Спайс. — Около тридцати пяти процентов не имеют постоянной работы, а это уже влечет за собой всякие беды, да и зимы у нас ужасные . . .

Есть чудовищные примеры. На прошлой неделе к нам на собрание пришла женщина просить о помощи. У нее трое детей. Муж работал на фабрике бижутерии Томпсона. Зарабатывал он неплохо, и они жили счастливо. Но однажды сломалась вытяжка, и он надыхался азотной кислоты. Дома он пожаловался на сухость во рту и кашель, ночью ему как будто стало лучше, а на другое утро его состояние ухудшилось, появилась желтая мокрота. Позвали врача. Тот предписал дышать кислородом. Ночью мужчина скончался. Мы собрали для его вдовы денег, а я пошел к врачу. Узнал, что рабочий умер потому, что отравился азотной кислотой; легкие с ней не справляются, и люди умирают, как правило, в течение сорока восьми часов. Теперь вдове надо как-то кормить троих детей, а все потому, что закон не принуждает нанимателя устанавливать полагающуюся вытяжку. Жизнь жестока по отношению к беднякам . . .

Кроме того, американские наниматели безжалостно выгоняют своих рабочих на улицу, а полиция и городские власти тоже не на стороне иностранных рабочих. Условия их жизни становятся все хуже и хуже. Не знаю, чем это может кончиться. — Спайс помолчал. — Вы, конечно же, социалист, поэтому будете посещать наши собрания и вступите в нашу организацию.

— Не знаю, социалист ли я, но мои симпатии на стороне рабочих. И я буду участвовать в ваших собраниях.

Прежде чем попрощаться, Спайс повел меня на экскурсию, показал лекционный зал, находившийся недалеко от редакции и под конец вручил мне месячный календарик с датами заседаний. Проводив меня до дверей дома Энге-ля, он выразил надежду на скорую встречу.

Наверно, уже была полночь, когда я вошел в дом. Но Энгель ждал меня, и мы еще довольно долго проговорили на родном баварском диалекте. Правда, я сообщил ему, что взял за правило никогда не говорить по-немецки, но все же не устоял от искушения поболтать на языке моего детства.

Энгель тоже читал мои статьи в «Vorwärts», и они нравились ему; сам он был абсолютным самоучкой, но судил о людях с проницательностью; бережливая осторожная душа с невероятным запасом доброты — чистый источник любви. Мы попрощались уже друзьями, и я отправился в постель на крыльях надежды, кстати, отлично проспал до утра.

На другое утро я решил немного осмотреться в Чикаго, потом нанес визит в

редакцию «Arbeiter Zeitung», рассчитывая получить там кое-какие статистические данные для моей будущей статьи, и так прошел день.

В Чикаго я пробыл уже неделю, когда в первый раз отправился на собрание социалистов. Оно проходило в деревянном бараке на задворках кирпичных домов. Комната оказалась довольно просторной, вмещавшей человек двести пятьдесят. Там стояли лишь деревянные скамейки, да имелось небольшое возвышение с деревянным столом и дюжиной простых деревянных стульев. К счастью, погода стояла прекрасная, так что мы открыли окна; была середина сентября, насколько мне помнится. Ораторы могли говорить, не боясь не быть услышанными, что я тоже считал большим преимуществом аудитории.

Первый оратор несколько удивил меня. Спайс представил его как герра Фишера; и он говорил на смеси немецкого с английским, которую было почти невозможно понять. Да и его идеи оказались под стать выговору. Герр Фишер был совершенно уверен, что богатые стали богатыми единственно потому, что первыми завладели землей и так называемыми «орудиями производства», отчего получили возможность мучить бедняков. Наверняка, он читал «Капитал» Маркса, но больше ничего или почти ничего не читал. Он даже не понимал, что такое энергия, высвобождаемая открытой конкуренцией. Похоже, он был недосформированным учеником европейского коммунизма с ярко выраженной ненавистью к тем, кого называл «богатыми грабителями».

Наверное, Фишер почувствовал, что аудитория его не принимает, потому что вдруг перестал ругать богатых и переключился на чикагскую полицию. Когда он заговорил о реальных событиях, то как будто сразу стал другим человеком. Он рассказал нам, как полицейские разгоняют демонстрации под тем предлогом, что они будто бы мешают уличному движению, как даже на пустырях разгоняют митинги. Поначалу, сказал он, полицейские довольствовались тем, что стаскивали оратора с импровизированной трибуны и убеждали толпу разойтись; а потом стали пускать в ход дубинки. Фишер помнил все митинги и к каждому своему утверждению приводил определенную главу и стих из Библии. Не зря он работал репортером «Arbeiter Zeitung». Очевидно, он близко к сердцу принимал такие понятия, как честность и справедливость, и его выводило из себя то, что он называл деспотической властью. Теперь он говорил в точности в духе американской Конституции. Право на свободу слова было дано американцам раз и навсегда. И он объявил, мол, никогда не допустит, чтобы это право было у них отобрано, и призвал аудиторию придти на митинги вооруженными и реализовывать свое право, которое прежде никогда не оспаривалось в Америке. Тут все засмеялись, и он, замолчав, сел на стул. Его аргументы были бы безупречным, если бы он дал себе труд понять, что американцы, рожденные американцами, добились для себя прав и привилегий, которыми не собирались делиться с иностранцами.

Следующий оратор был совсем другого типа — пожилой еврей по фамилии Бретмайер, который заявил о необходимости создания Рабочего бюро Спай-

са. Он говорил о том, как эксплуатируют рабочих, приводя один пример за другим. Такие выступления мне по душе. Меня тоже эксплуатировали, и я с удовольствием присоединялся к аплодисментам, то и дело возникавшим во время его выступления. Для Бретмайера человечество делилось на два лагеря — «владельцев» и «не-владельцев», или, как он уточнил, хозяев и рабов, тех, кто тратит, и тех, кто хочет тратить. Он ни разу не возвысил голос, и тем не менее кое-что в его выступлении достигло цели; но даже Бретмайер не смог избежать животрепещущей темы. Его друга на последнем митинге избил полицейский, друг все еще в больнице и, возможно, останется калекой на всю жизнь. Какое преступление совершил Адольф Штайн, что плохого он сделал, чем заслужил такое? Однако свое выступление Бретмайер закончил довольно мягко. Он стоял за пассивное сопротивление, насколько это возможно (в зале зашипели); «насколько это возможно», повторил он с нажимом, и за этим последовали смешки. У меня от возбуждения сердце стучало как бешеное; было очевидно, что люди созрели для активного сопротивления тому, что они считали тиранией и угнетением.

После того, как Бретмайер сел на место, воцарилось молчание, прерванное человеком, который вышел из боковых рядов и встал напротив собравшихся. Это был худощавый обыкновенный незаметный человек с зелеными тенями вокруг глаз. Спайс подошел к нему и пояснил, что герр Лей-тер в прошлом году был ранен при взрыве котла, лежал в больнице, долго лечился, а два дня назад был выписан из больницы почти слепым. Он пошел к своим бывшим хозяевам, господам Роскилл, известным своими мыловарнями в восточной части города, на которых работает не меньше тысячи человек, и попросил дать ему какую-нибудь работу полегче. Они не дали ему никакой работы, и теперь он обращается за помощью к друзьям, к братьям-рабочим. Уже на расстоянии двух-трех ярдов он ничего не видел. Если бы у него были двести долларов, он мог бы открыть лавочку и торговать мылом, возможно, жить на это. В любом случае, ему поможет жена, и голодать он не будет, если сумеет купить лавочку. Все это Спайс изложил ровным голосом, не выражая своих эмоций. Деньги тотчас собрали, и Спайс сообщил, что общая сумма составляет сто восемьдесят четыре доллара. Сто восемьдесят четыре доллара, если учесть не такое уж большое количество присутствовавших на собрании мужчин и женщин, очень щедрый подарок.

Не знаю уж, как вас благодарить, — проговорил герр Лейтер прерывающимся голосом и, опираясь на руку жены, вернулся на свое место. Когда я смотрел на этого беспомощного, ни на что не надеявшегося человека, который терпеливо сносил удары судьбы, у меня на глаза навернулись горячие слезы. Мистер Роскилл не потратил ни доллара из своих миллионов на этого солдата, ставшего инвалидом на его службе. Из чего сделаны эти люди, раз они не бунтуют? Если бы я ослеп под водой в Бруклине, я бы нашел нужные слова. А Роскилл как бы и ни при чем. Почему такое возможно? Я подошел к сцене и по-немецки



спросил Лейтера: «Nichts hat Er gethan — Nichts? Nichts gegeben?» (Роскилл ничего не сделал? Ничего вам не дал?)

Nichts; er sagte dass es ihm Leid tr^ete. (Ничего; он сказал, что очень сожалеет.) — У меня упали руки. Я начал понимать, что покорность — признак рабства, что это баранье терпение — наследственная черта. Несмотря на протесты рассудка, кровь вскипела у меня в жилах, мне стало трудно дышать из-за нестерпимой жалости к этим людям. Что-то надо делать. Неожиданно мне вспомнились слова Бретмай-ера — «пассивное сопротивление, насколько это возможно». И я подумал, что конец близок. Оставаться на собрании дольше мне было не по силам. Надо было подумать, и я думал, пока шел домой, и звезды светили мне с неба. Ослепнуть в двадцать шесть лет и быть обреченным на голод — да так не поступают даже с лошадей или собакой! С ума сойти можно!

Судя по тому, что я услышал, рабочим в Чикаго хлеб доставался даже потруднее, чем в Нью-Йорке. Почему? Я не мог не спросить себя: почему? Возможно, потому что в Чикаго аккумулируется не так много богатств, зато властвует еще более сильное желание быстро разбогатеть.

«Слепой, без компенсации и без помощи» — эти слова горели в моем мозгу огненными буквами. Именно мысль о Лейтере привела меня двумя днями позже в Социалистический клуб.

Я договорился со Спайсом посетить разные рабочие клубы и побывал в нескольких, чтобы написать статью для Нью-Йорка, найдя там именно то, что искал. Жалование рабочих в Чикаго было чуть-чуть выше, чем в Нью-Йорке, однако при малейшей возможности рабочих надували, обкрадывали, обманывали. И безработных в Чикаго оказалось больше, чем в Манхэттене.

Написав статью о Лейтере для «Vorwirts», я отправился на Мичиган-бульвар и пошел по берегу озера. Водная гладь завораживает меня, и мне понравился широкий бульвар и стоявшие там посреди зеленых лужаек красивые дома из камня или кирпича. Погуляв около часа, я вернулся на бульвар, и тут произошло нечто невероятное. Наемная одноконная карета наехала на кабриолет, или кабриолет наехал на карету, выскочившую на перекресток, в любом случае, зрелище ужасное, карета вся разбита, двое полицейских придерживали лошадей. Быстро собралась толпа.

Что случилось? — спросил я у соседа и, когда он обернулся, понял, что передо мной девушка.

Не знаю. Я только что подошла, — ответила она, поднимая на меня глаза.

У меня захватило дух. Это было лицо из моих мечтаний — темные глаза, волосы, лоб, правда, нос оказался немножко тоньше, чем в моих фантазиях, возможно, и черты лица несколько резче, но выражение лица было уверенным, а темные газельи глаза просто божественными. Сообразив, что признание может быть лучшим способом знакомства, я сказал ей, что лишь недавно в Чикаго, что приехал из Нью-Йорка и что надеюсь, она не откажет мне в знакомстве.

Мол, мне одиноко в чужом городе. Когда мы немного отошли от толпы, она призналась, что сразу узнала во мне иностранца, потому что в моем произношении ей послышался странный акцент. Тогда я продолжил откровенничать и сообщил о своем немецком происхождении, после чего заявил, будто немцам свойственно сразу же представляться, попросил у нее позволения сделать это и произнес по немецкому обычаю: «Меня зовут Рудольф Шнобельт». Она тоже назвалась, Элси Леман, и у нее это получилось очень мило.

— Вы тоже немка?

— О нет! Папа был немцем, но он умер, когда я была еще совсем маленькой, — проговорила она и добавила, что живет с матерью-южанкой. Тогда я выразил надежду, что она позволит мне проводить ее до дома, и она приняла мое предложение.

По дороге мы рассказывали о себе, и вскоре я уже довольно много знал об Элси. Она работала стенографисткой и машинисткой в фирме «Джэнсен Макклёрг и компания», продававшей книги, и освобождалась вечером в семь часов. Я не упустил шанс и спросил, не пойдет ли она как-нибудь со мной в театр? Покраснев, Элси с удовольствием согласилась и призналась, что любит театр больше всего на свете после танцев, поэтому я предложил ей пойти со мной в театр прямо на следующий вечер.

Расстались мы у дверей многоквартирного дома, в котором Элси жила вместе с матерью; она пригласила меня войти и познакомиться с ее матерью, но я сказал, что сделаю это завтра, мол, не хочу показываться в рабочей одежде. Попрощавшись, я еще видел, как она стояла наверху — хрупкая, гибкая, красивая.

Идя домой, я думал о том, каким образом она умудряется так хорошо одеваться, ведь она выглядела настоящей леди, одновременно скромницей и франтихой. А на ее жалование вряд ли пошikuешь. Тогда я не знал, как знаю теперь, что у Элси был природный дар выглядеть прилично и не похоже на других; от воспоминаний о ее чарующей красоте кровь бежала у меня в жилах, как вино, и я позаботился купить пару газет, чтобы выбрать театр. Наверное, я сентиментальный немец и уже родился с уважением к женщинам, но для первого свидания я выбрал самую приличную пьесу, какую только смог отыскать, комедию «Как вам это понравится» с известной актрисой в роли Розалинды.

На другой день я надел свой лучший темный костюм, повязал шелковый галстук и к семи часам отправился к Элси.

Почти весь день я только и делал, что думал о ней, нравлюсь ли ей так же, как она нравится мне, можно ли мне поцеловать ее, и у меня захватывало дух, потому что мной уже владела священная робость любви, да и Элси казалась слишком красивой, чтобы принадлежать мне.

На мой звонок дверь открыла ее мать, усталая маленькая женщина с потухшими черными глазами, в платье, украшенном белыми воротничком и манжетами. Тихим недовольным голосом она сказала, что Элси скоро выйдет,

что она только что пришла со службы и переодевается.

Миссис Леман пригласила меня сесть, и мы стали разговаривать, скорее она выпрашивала меня о моей жизни и планах на будущее. Я был не против, более того, я гордился своим положением писателя. Пожалуй, она не питала иллюзий на сей счет. Писательство, сказала она, «не очень трудная» работа, но за нее платят мало. В доме, где они жили до этого, «тоже был писатель, который у всех брал в долг деньги и никогда их не отдавал. Он все время с кем-то встречался и потом писал», сказала она, из чего я заключил, что писатель был журналистом. Мы все еще обсуждали безденежного, бессовестного журналиста, когда вошла Элси и мгновенно завладела моими чувствами.

Она надела легкое желтое платье из туссора, а в волосах у нее, над ухом, алела роза. На голову она накинула шарф темно-желтого цвета — и была похожа на цветок своей утонченной грацией. Я сказал ей, что она похожа на нарцисс, и она ответила на комплимент вспыхнувшим взглядом и улыбкой. Погода стояла отличная, так что в театр мы отправились пешком. Пару раз мы соприкоснулись рукавами, и сердце у меня сразу же начинало биться сильнее.

Вот это был вечер! Я читал пьесу, но никогда не видел ее, так что был очарован безмерно. В антракте Элси сказала, что ей тоже нравится, вот только платье Розалинды ей не по вкусу. «Оно неприличное, — сказала Элси, — ни одна уважающая себя женщина такого не наденет». Преподложение, что Орlando должен принять Розалинду за мальчика, она отвергла сразу. «Он наверняка узнал ее, — заявила она, — а иначе он не умный человек; нельзя же быть таким глупым». Особенно ей не понравился Жак, и она не понимала, как двор мог оказаться в лесу.

Еще до конца вечера я убедился в том, что она сильная и целеустремленная натура. Ее красота была легкой, утонченной, зовущей, но характер — властным и твердым. Для меня ее образ с того вечера соединился с чудесным образом Розалинды; ведь судьба испробовала на прочность и Элси тоже, и я полюбил ее еще сильнее, узнав, что она будет покрепче, чем Розалинда, и лучше знает, как ей выжить во враждебном мире.

Элси нравились свет, толпа и красивые платья, и она ничуть не тушевалась в незнакомых местах.

— Я люблю театр, — воскликнула она. — Жаль, что сцена — это не на самом деле, не настоящая жизнь.

— Театр больше, чем жизнь, — произнес я в привычной дидактической немецкой манере, — ведь это квинтэссенция жизни.

Элси удивленно посмотрела на меня.

— Иногда вы очень смешной, — сказала она и громко рассмеялась, хотя я не понял почему.

Выходя из театра, мы увидели высокую темноволосую девушку, но совсем не такую хорошенькую, как Элси, с ниткой великолепных жемчужин на шее.

— Дурнушка, правда? — спросила Элси. — Но вы обратили внимание на

жемчуг и великолепное платье?

— Нет, — ответил я, — в общем-то не обратил.

Она в подробностях рассказала о платье, не преминув заметить, что тоже хотела бы иметь такое; ей нравилось воображать, будто она богатая.

— Когда я вижу красивое платье, — продолжала она, — то представляю, будто оно на мне, и счастлива. Вам не кажется, что счастье — это когда притворяешься?

— Наверное, отчасти, — ответил я, поражаясь ее мудрости. — В притворстве можно найти много удовольствия, с годами реальность становится все тягостнее.

— Вы говорите, как Мафусаил, а ведь вам не больше двадцати.

Она поразила меня своей пронизательностью, но я все же не сказал, насколько она была близка к истине.

Когда мы подошли к дверям, дом был погружен во тьму; но Элси сказала, что ее мать наверняка ждет ее. Сказав «до свидания», она естественным движением подставила мне лицо, и я, со страстью обняв ее, поцеловал в губы. Я пригласил ее прогуляться следующим вечером и отправился домой, все еще ощущая ее тело в моих объятиях и ее теплые губы на моих губах.

Энгель не спал, он обычно ложился поздно. Говорить с ним об Элси мне не хотелось, поэтому я в нескольких словах рассказал о пьесе и торопливо ушел в свою комнату. Мне хотелось остаться одному и еще раз пережить незнакомое чудесное ощущение. Вновь и вновь я мысленно обнимал тонкую талию, целовал девичьи губы; они были нежнее шелка; и единственно от воспоминаний кровь закипала у меня в жилах, а вот этого как раз мне было не нужно. В конце концов я взял книгу и, немного почитав, заснул.

После того первого вечера мы продолжали встречаться с Элси. Теплыми вечерами мы подолгу бродили по городским улицам. Ее любимыми местами были Мичиган-бульвар или парк. «Там, — обычно говорила она, — жизнь прекрасна». Элси многому научила меня. Она открыла мне аристократический взгляд на жизнь, и с её помощью я стал говорить правильно, словно настоящий американец. Так или иначе, но она поддерживала меня в желании стать американцем. И мое честолюбие она не оставляла в покое; ей хотелось знать, почему я не пишу для американских газет вместо того, чтобы работать на жалкие немецкие газеты, до которых никому нет дела. Увы, она была на стороне богатых и сильных против бедных и слабых.

Но я нравился ей, она была моей девушкой, и иногда мы забывали о жестокой правде жизни. Элси позволяла мне целовать себя, а, когда привыкла ко мне, то на одно-другое мгновение даже отдавалась моей страсти, во всяком случае, мысленно. Не прошло и недели, как мы познакомились, а я уже мечтал обручиться с ней, *verlobt*, как того требует немецкий обычай. И мне казалось, я очень хитро выбрал место, чтобы сделать ей предложение. Мы сидели на скамейке и молча смотрели на Великое озеро, золотившееся под солнечными

лучами. Некоторое время мы пробыли бок о бок, после чего я расхрабрился, обнял ее и, когда стал целовать, мне почудилось, что она вся моя.

— Я хочу купить обручальное кольцо, дорогая. Какое тебе понравилось бы?

Неожиданно она высвободилась из моих объятий и норовисто тряхнула головой.

— Не сходи с ума, — сказала Элси. — У тебя ничего нет, и у меня ничего нет. Это глупо. А теперь пойдем домой. — И, не слушая моих возражений, она торопливо зашагала в сторону своего дома.

Элси первой научила меня воспринимать любовь как чудо и красоту, как будто она единственная и другой такой не найти ни на суше, ни на море. Она изменила мое представление о жизни и заставила любить даже ее видимость. Когда я был с ней, то жил максимально интенсивно — все мои чувства обострялись — колдовство было в воздухе, в солнечном свете и в моей крови. Когда же она покидала меня, мне становилось скучно и одиноко, и мир тоже как будто преображался, серел и мрачнел. Если мы часто встречались, ее чары меня завораживали, и страсть поглощала меня. Она отвечала на мою страсть, у нее вспыхивали румянцем щеки и губы горели огнем, но меня поражало ее умение держать себя в руках. Она не желала подчиняться чувственному угару и даже осознавать его реальность. Поначалу я воспринимал ее сопротивление как дань условностям, а так как боялся потерять ее, то не очень настаивал. Меня возбуждало уже то, что я мог держать ее в объятиях и целовать ее губы, поэтому боялся рисковать. Но когда ее губы становились горячими, когда я пытался поцеловать ее в шею или, отодвинув рукав, поцеловать нежную, как цветок, руку, белоснежный лепесток покрывался гневными пятнами.

— Нет, не надо, — кричала она. — Ты нравишься мне, очень нравишься; ты хороший, добрый, но это неправильно; да, неправильно, потому что мы слишком бедны для брака. Ты должен хорошо себя вести, милый. («Милым» она называла меня, когда хотела приласкать.) Мне нравятся твои голубые глаза, — продолжала она задумчиво, — мне нравится, что ты сильный, высокий и у тебя есть усы (с улыбкой она касалась их). Но нет, нет и нет! Если ты не перестанешь, я уйду домой.

Естественно, я подчинялся, чтобы начать все сначала через пару минут. Я уже не контролировал свою страсть, я любил Элси, и чем ближе узнавал ее, тем сильнее любил; но если нежность прячется в глубине, то страсть стремится наружу; я не мог взнудать ее, и она доводила меня почти до безумия, подстегиваемая любопытством. Меня извиняла моя юность, потому что я не мог удержаться и не коснуться ее, не погладить, мои руки были так же ненасытны, как глаза.

Как только моя страсть стала очевидной, Элси начала контролировать ее. Пока она была бессознательной, я пользовался почти безграничной свободой. Прощаясь с Элси, я почти всегда размышлял о том, что ей мешает — скромность, робость или неприязнь к моим прикосновениям.

Очень быстро мне стало ясно, что когда она делит со мной мою страсть, когда забывается пусть даже на мгновение, то потом старается наказать меня за свою податливость, обидеть меня.

— Нет, сэр, оставайтесь на месте. Я сама найду дорогу домой. До свидания, — наказывая меня, говорила властная красотка.

Как-то раз, брошенный таким образом, я развернулся и зашагал обратно к озеру. Элси берег не нравился; он пустой и уродливый, говорила она; и вправду там не росли ни трава, ни деревья; там было безлюдно и диковато и время от времени появлялись лишь простые злые люди. Меня же притягивала бескрайняя водная стихия, так что в тот раз я подчинился своему желанию.

Не пройдя и полумили, я наткнулся на большой митинг. Встав на ящик, человек обращался к толпе, в которой было примерно две-три тысячи человек. Это был высокий американец и, наверное, опытный оратор с красивым голосом — тенором. Меня он заинтересовал сразу же — высокий лоб, твердые черты лица, волнующиеся на концах усы. К тому же было что-то завораживающее в его колоритной и искренней речи. Похоже, он много путешествовал и много читал; я подошел поближе и увидел, что люди не отрывают глаз от его губ.

— Кто это? — спросил я. Мне тотчас ответили, что его фамилия Парсонс и он — редактор лейбористской газеты «The Alarm». Говорил он о билле, касавшемся восьмичасового рабочего дня, который лейбористы рассчитывали провести на ближайшей сессии парламента, и противопоставлял жизнь богатых с Мичиган-бульвар и жизнь бедняков. Речь у него была отличная, и жестокая правда звучала жестко в его устах. Пару сотен лет назад богачи ездили тут в богатых экипажах, и везде их окружали слуги, а теперь повсюду поставщики, на которых работают люди, понятия не имеющие, когда смогут поесть в следующий раз; и Парсонс отлично иллюстрировал свои тезисы примерами.

— Вы, рабочие, делаете экипажи, — кричал он, — а разъезжают в них богачи, вы строите красивые дома, но живут в них богачи. Во всем мире рабочие удовлетворяют их прихоти, в Китае для них выращивают собак, на Кубе — золотых рыбок. На морозном Севере охотники отмороженными пальцами ловят зверей, чтобы эти лентяи могли носить меха; в солнечной Флориде садоводы выращивают для них фрукты, а ваши дети ходят полуголодными и полуголыми в самые морозы, тогда как богачи выбрасывают по пятьдесят долларов на еду и держат специальных людей, чтобы те надевали шелковые носочки на их маленьких собачек.

У Парсонса имелся явный ораторский талант, да и с рассудительностью у него все было в порядке. Он называл настоящее время «эрой машин» и объявлял, что за последний век производительность труда рабочего благодаря машинам увеличилась в сто раз.

— Почему же нам не платят в сто раз больше? — кричал он. — За восьмичасовой рабочий день теперь производят товаров столько же, сколько за сотни часов век назад, так почему бы нанимателю не удовлетвориться восьмью

часами и не дать рабочему возможность жить по-человечески? Конечно, он удовлетворился бы, будь он нанимателем, а не эксплуататором. . .

— Только подумайте, какая несправедливость, — продолжал он. — Мы, люди, постепенно берем власть над природой. Последнее достижение — электричество — и дешево, и эффективно. Сначала ученый открывает закон или новую силу, потом изобретатель применяет ее к действительности, потом жадный злодей присваивает себе прибыль. Чикагские бедняки ничем не отличаются от бедняков всего света; многие из них умрут нынешней зимой от холода и голода; зато богачи станут еще богаче. Сто лет назад кто-нибудь слышал о богачах, делающих миллион долларов за свою жизнь? А теперь у нас есть Рокфеллеры и другие с состояниями в сотни миллионов. Неужели они заработали эти деньги? — спросил он. — Конечно же, нет, они украли их, потому что умеют только красть огромные деньги, ведь ученые и изобретатели сделали труд рабочих в десять раз продуктивнее, чем до эпохи пара и электричества. Но почему достижения человеческого ума и труда должны непременно еще больше обогащать немногих богатых; почему должны прятаться в бочках и цистернах, так сказать, а не пролиться золотым душем над всей страной? Не понимаю. Я думаю по-другому. — И он продолжил рассказ о строительстве рая для рабочего человека.

Его слова не остались без ответа. Толпа была на его стороне. Парсонс несколько раз очень удивил меня. Он говорил о социализме и анархизме, как будто это было одно и то же, но говорил со страстью и энтузиазмом. Тут я обратил внимание на человека, стоявшего слева; он пришел после меня. Одет он был как рабочий, только аккуратно. Я обратил внимание, что он в какой-то момент сердито отвернулся от оратора.

— Кажется, вы не согласны с Парсонсом, — заметил я. Неожиданно наши взгляды встретились, и у меня словно электрический ток пробежал по телу, до того у него был пронизывающий, необычный взгляд; но я заставил себя не отвернуться.

— Немного цветисто.

Меня обожгло его презрение, но я заговорил опять, в основном чтобы посмотреть ему в глаза и понять, в чем их необычная сила.

— В том, что он говорит, много правды, и говорит он отлично.

Снова наши взгляды встретились, и опять я ощутил удар электрического тока.

— О да! — согласился он, глядя на озеро. — Над этой водой тоже есть пенистые кудряшки, — добавил он и отвернулся.

Пока он шел прочь, я смотрел ему вслед. Глаза у него серые или черные? Я не мог сказать точно. Он еще не исчез из поля моего зрения, так что я рассмотрел, что он среднего роста, кряжист, шагает легко и неторопливо, как очень сильный человек. Никогда еще никто не производил на меня такого впечатления, хотя я услышал от него всего несколько слов. Тогда я этого не

знал, но я в первый раз говорил с человеком, который перевернул мою жизнь,  
с Луисом Линггом.



## Глава III

В то время я начал понимать, что борьба между нанимателями и наемными рабочими в Чикаго дошла до опасной черты и становится еще опаснее, так как девять из десяти рожденных в Америке рабочих принимают сторону хозяев против рабочих под тем предлогом, что эти рабочие иностранцы. На агитацию за восьмичасовой рабочий день смотрели как на иностранное нововведение и критиковали на все лады.

Следуя совету Элси, я побывал в редакциях больших американских газет и попытался найти там работу. Когда меня просили подтвердить мою квалификацию, я показывал редакторам переводы на английский язык моих лучших статей в «Vorwärts». Разочарование следовало за разочарованием, но в конце концов у меня состоялся разговор с редактором «The Chicago Tribune», который принял мою статью о подземных работах в Нью-Йорке, но при условии, что я вычеркну «социалистический вздор».

— Здесь это не пройдет, — улыбнулся он, — для нас это все равно что красная тряпка для быка! В своем роде неплохо, вы совершенно правы, но для нас слишком сильно. Понимаете?

И он вручил мне чек на двадцать пять долларов за мою статью. Такой возможности нельзя было упускать. Я сказал ему, что знаю немецкий язык лучше английского и хотел бы быть репортером газеты по рабочим проблемам.

— Ладно, — согласился он, — только не выпячивайте иностранцев. Мы же все американцы и любим наш звездно-полосатый флаг, ясно?

Я сказал, что буду придерживаться фактов, и делал это с большим или меньшим успехом, описывая не самые яркие эпизоды. А потом случилось нечто, показавшееся мне очень важным и позднее названное мной новым исходным моментом. В восточной части города началась забастовка. Это было в декабре или в январе, мороз стоял не меньше пятнадцатидвадцати градусов. Медленно валил снег, заканчивался рабочий день. На одном из заводов рабочие вышли на улицу и устроили митинг. Собралось около тысячи мужчин и примерно сотня женщин и детей. Речи произносили в основном на немецком языке, и некоторое время было довольно скучно. Главная претензия заключалась в том, что хозяева урезали жалование и повысили штрафы, так как слишком много продукции залежалось на складе и им хотелось уменьшить зимние потери, когда продажи на самом низком уровне. Да и работа была не из сложных, вот хозяева и решили сэкономить на людях.

На снегу и ветру несчастные рабочие обсуждали свои требования и решали выставить пикеты, чтобы ни о чем не догадывающиеся люди не заняли их места на заводах и фабриках. Я ходил в толпе, присматривался к лицам. В основном собрались молодые, сильные, умные люди, подонков среди них я не заметил, более того, выражение лиц было возвышеннее, чем в Гамбурге или

Мюнхене, хотя на каждом читались озабоченность и беспокойство. На одних была написана горечь, другие показались мне угрюмыми и замкнутыми. В Чикаго борьба за жизнь шла упорная, а рабочие были слабыми — разъединенными своими национальностями и элементарным незнанием языков друг друга.

Мрачный день сменился вечером, снег повалил сильнее. Я отошел немного в сторону, думая о том, не пора ли мне идти домой и писать о забастовке, когда услышал шум шагов и увидел довольно много полицейских, человек сто, шагавших по улице. Тут уж мне стало не до дома. Полицейские набросились на толпу, и капитан Бонфилд, сильный человек, добившийся своего положения исключительно благодаря собственной недюжинной силе и храбрости, стал с десятком полицейских пробиваться сквозь толпу. «Слезайте», — кричали полицейские ораторам, одновременно требуя от толпы разойтись. «Расходитесь! Расходитесь!» — повторяли полицейские, и митингующие начали недовольно подчиняться.

Поначалу складывалось впечатление, что длиннорукая власть опять с легкостью победила; однако наступил момент, когда полицейские, похоже, начали терять терпение. Бон-филд разговаривал с одним из ораторов, как я потом узнал, англичанином по фамилии Филден, пожилым, темнобородым человеком, добродушным и твердым в своих решениях. Он не переставал повторять:

— Мы никому не мешаем. Кому мы мешаем? Никому мы не мешаем.

Бонфилд держал в руке дубинку. Неожиданно он потерял власть над собой. Возможно, его толкала толпа. Не знаю. Но он вдруг ударил Филдена в живот своей дубинкой, а потом свалил с тележки, служившей импровизированной трибуной. Тотчас перед Бонфилдом оказался человек, что-то кричавший и отчаянно жестикулировавший. Это был коммунист Фишер. Очевидно, что он потерял над собой власть от ярости, да и полицейские вряд ли понимали его англо-немецкий жаргон. Посмотрев на него минуту, Бонфилд отстранил его левой рукой. Когда Фишер опять, жестикулируя, полез вперед, Бонфилд вновь отстранил его, да еще сильно ударил по голове дубинкой. Фишер упал без сознания, и все словно с цепи сорвались. В одно мгновение полицейских смяли, повалили на землю и стали топтать ногами. Мне было необходимо во что бы то ни стало выбраться из толпы и посмотреть, что будет дальше. Остававшиеся с краю полицейские, не разбирая цели, уже вовсю орудовали дубинками. Толпа стала расплзаться в предвидении жестокой бойни. Мне удалось пробиться на тротуар, откуда я хорошо видел, как полицейские колотят всех подряд. Бульшая часть толпы уже разбежалась. Но тех, кто хотел убежать, тоже били. Полицейские устроили настоящую бойню. У меня начала вскипать в жилах кровь, но не было оружия, и я ничего не мог предпринять. Я стоял на углу и видел, как полицейский бросился следом за мальчишкой лет тринадцати-четырнадцати. Тот уже почти поравнялся со мной, но полицейский все же поймал его и занес над ним дубинку. Кажется, я в ужасе закричал. Ми-

мо кто-то промелькнул, и, прежде чем дубинка полицейского опустилась на голову ребенка, его самого ударили в зубы, да еще с такой силой и скоростью, что у меня захватило дух от изумления, когда он упал, а дубинка отлетела на дюжину футов. В следующий момент нападавший, развернувшись, уже шагал мимо меня. Это был тот самый человек, который поразил меня своим взглядом на митинге возле озера, где выступал Парсонс.

Я бросился за ним следом, но нас разделили забастовщики, и он исчез.

Описав нападение полиции в точности так, как изложил его тут, я отнес статью в «Tribune», однако сначала запасаю кое-какими цифрами для подкрепления своего рассказа, фактами. Тридцать пять рабочих отвезли в больницу, все они были жестоко избиты, двое находились на грани жизни и смерти, тогда как ни один полицейский не пострадал настолько, чтобы прийти на прием к врачу.

Редактор прочитал мою статью и нахмурился.

— Наверное, Шнобельт, все так и было, как вы написали, — сказал он, — тем более здесь приведены данные из больницы. Но в вашей статье очевидны нападки на Америку, поэтому я не собираюсь вас поддерживать. Не забывайте, мы все тут янки! — добавил он твердо.

— Я не принимаю ничью сторону, — попробовал объяснить я, — просто написал все, как было.

— Вот-вот, и это самое ужасное, — подтвердил редактор. — Проклятье. Не сомневаюсь, у вас тут все правда, но тем не менее не могу это напечатать. Вы, иностранцы, ратуете за восьмичасовой рабочий день, а мы против. Я могу приписать немного от себя, скажем, что Бонфилд был излишне активен.

— Ладно, не хотите печатать, не надо, но, может быть, вы не возражаете, если я буду писать о волнениях, скажем. . .

— Конечно, конечно, — отозвался редактор. — Вы отлично пишете. Везде бываете, тогда как наши американские репортеры зачастую хитрят. Они пишут о событиях, которых в глаза не видели. Это ваша тема, но все же держитесь подальше от политики. Для кое-кого из поляков и немцев наступают тяжелые времена, поверьте мне на слово, тяжелые времена.

Редактор оказался прав. Зимой и весной для иностранных рабочих времена были тяжелые, но «Tribune» так же, как все американские газеты, не печатала правду. В своей колонке редактор забыл даже упомянуть об излишней старательности Бонфилда, хотя обещал. Он написал лишь о том, что тридцать пять иностранцев, помещенных в больницу, возможно, послужат предостережением остальным, которые все еще держат в мыслях драки с полицейскими. Тяжелые времена наступили, это точно, но будут еще тяжелее — для иностранных рабочих!

До отчетов о митингах меня больше не допускали. Но я видел их, и еще живы сотни американцев, которые своими глазами видели, как все больше и больше ожесточались полицейские. С каждым месяцем защищаться от них

становилось все невозможнее, пока, наконец, им даже не требовалась толпа, они сразу хватались за дубинки, не разбирая, где митингующие, а где зеваки.

Однако я забегаю вперед. После разговора с редактором «Tribune» я отправился к Спайсу. Он с удовольствием прочитал мое описание стычки с полицейскими, которое я подготовил для его газеты, представил меня англичанину Филдену, уже успевшему обо всем ему рассказать, и нас обоих поставил в известность о том, что Фишер лежит в постели, правда, дома. Удар оказался тяжелым. У него разбита половина лица, он получил сотрясение мозга и вряд ли может рассчитывать на поправку в ближайшие месяцы. Это подстегнуло Спайса, укрепило его мужество. «Стыд и срам, стыд и срам, — повторял он. — В первый раз в Америке силой разгоняют митинг, устроенный в стороне от городского движения. С одной стороны мысли, с другой — дубинки». Он был вне себя от возбуждения и злости.

По дороге к выходу я остановился, чтобы перекинуться парой слов с кассиром, и тут-то, в коридоре, столкнулся нос к носу с Рабеном. — Как! — вскричал я. — Ты здесь?

Он сказал, что уже несколько дней, как приехал в Чикаго.

— Пойдем, я угощу тебя настоящим немецким обедом, как ты когда-то угощал меня в Нью-Йорке. Помнишь? Нам есть о чем поговорить.

— Вы тут, в Чикаго, делаете историю, — произнес Рабен. — Меня прислал «The New York Herald», чтобы я написал о здешних забастовках.

Его восторженный тон позабавил меня. Похоже, связь с известной газетой придавала ему вес в собственных глазах.

Когда мы вместе вышли из редакции, я с удовольствием обратил внимание, что говорю по-английски лучше него. Собственно, говорил я как настоящий американец, а в нем любой мог бы по выговору угадать немца. Элли мне здорово помогла. Кроме того, я читал английских авторов и писал по-английски, отчего у меня заметно увеличился запас слов и я намного дальше него продвинулся в изучении языка, что бы он там ни думал.

Вскоре мы уже сидели в ресторане, перед нами стояли тарелки с хорошей едой, и тут только я узнал, что Рабен две недели назад приехал в Чикаго.

— Я слышал о тебе и знал, что рано или поздно мы встретимся.

— Ты был тут? — не поверил я своим ушам. — Почему же я тебя не видел?

На самом деле, так как я почти каждый вечер встречался с Элли, то мало виделся с немцами.

— Два раза на последней неделе я заходил в «Arbeiter Zeitung», — почти извиняясь, добавил я.

— А, — отозвался Рабен, — эта газета не играет большой роли. Все революционные силы Чикаго выступают в «Lehr and Wehr Verein».

Я повторил:

— Революционные силы. . . «Lehr and Wehr Verein». . . Никогда не слышал.

— Пойдем сегодня со мной, — предложил Рабен, чувствуя себя почти Колум-

бом, — и сам все поймешь. Ты встретишься там с анархистами, мой мальчик, которые предпочитают делать, а не болтать, подобно твоим смиренным социалистам, позволяющим избивать себя до полусмерти.

Рабен, как я уже заметил, любил удивлять. Его непомерное честолюбие имело в себе нечто драматическое, ему хотелось быть одновременно Кассандрой и Иеремией.

— Боже мой! — вскричал я. — Неужели в Чикаго есть анархисты?

Само слово показалось мне ужасным. На Рабена мое невежество произвело впечатление.

— Пойдем со мной, и я покажу тебе Чикаго, — сказал он. — Я пробыл тут всего две недели, но знаю о нем больше тебя, хоть ты тут уже не один месяц. Я не зря ем свой хлеб, — добавил он и вытянул губы, довольный произведенным впечатлением.

Покончив с обедом, мы решили отправиться в Анархистский клуб, и он повел меня прочь из восточной части города на окраину, в центр незнакомого мне беднейшего квартала. Мы зашли в Немецкий салун, где Рабен представил меня герру Михаэлю Швабу, помощнику редактора «Arbeiter Zeitung», которого я видел в обществе Спайса. Это был высокий немецкий профессор в очках, худой, костистый, болезненный на вид, с черными волосами и длинной, черной, неухоженной бородой. Рабен по-немецки сказал Швабу, кто я такой, какие у меня пристрастия, и Шваб ответил «да», мол, он отведет нас наверх. Он пошел в глубь салуна, а потом по узкой лестнице в комнату почти без мебели, где уже были около тридцати мужчин и три-четыре женщины. Посреди стоял стол, вокруг которого сидели присутствующие, и в глубине комнаты — еще один простой столик для выступающего. Наше появление не осталось незамеченным; все повернулись в нашу сторону. Очевидно, собрание еще не началось. Едва я переступил порог, как увидел человека, который ударил полицейского и с которым мне хотелось познакомиться поближе. Я уже было хотел попросить Рабена, чтобы Шваб представил меня, как Рабен обернулся и сказал:

— А вот и она. Я должен тебя познакомить с самой прелестной анархисткой в мире. — И с этими словами он подтолкнул меня к высокой миловидной брюнетке, которая только что заговорила со Швабом. Потом Рабен перешел на английский язык. — Позвольте мне, мисс Ида Миллер, представить вам моего друга, мистера Рудольфа Шнобельта.

Она с улыбкой протянула мне руку. Рабен рассказал ей, как уговорил меня прийти на собрание, настоящее анархистское собрание, хотя я не верил, будто в Чикаго есть хоть один анархист. «Да ведь он из Южной Германии», — добавил Рабен почти презрительно. Что-то в выражении лица мисс Миллер привлекло меня, и через минуту мы уже дружески болтали. У нее были красивые глаза, она заинтересовала и очаровала меня, скажем, как может очаровать ребенок. Неожиданно для себя я сказал:

— Мисс Миллер, здесь есть один человек, с которым я очень хотел бы позна-

комиться. Может быть, вы знакомы с ним?

— О ком вы говорите?

Я описал его глаза и то впечатление, которое он произвел на меня в нашу первую встречу, а потом рассказал, как он спас мальчишку, как стремительно и дерзко расправился с полицейским, после чего, как ни в чем не бывало, исчез в темноте.

— Это, наверняка, Луис, — воскликнула Ида. — Луис Лингг. Подумать только! А ведь он ни словечка мне не сказал, ни одного словечка.

— Луис Лингг, — повторил я. — Он француз?

— Нет, нет. Немец из Мангейма. Вон он, во главе стола. Это он основал наше общество — великий человек, — проговорила она, словно забыв о моем присутствии.

— Ну, конечно же, вы считаете его великим, — вмешался Рабен. — Это так естественно.

Мисс Миллер обернулась и внимательно посмотрела на него.

— Да, — повторила она. — Это естественно. И я рада. Люди, которые хорошо его знают, очень высоко его ценят.

— Мне бы хотелось познакомиться с Линггом, — сказал я.

— И он будет рад познакомиться с вами, — отозвалась Ида. Мы отошли в сторонку. — Он всегда рад, — продолжала она шепотом, — познакомиться с человеком, который хочет узнать о нас или помочь нам. Луис! — позвала она и представила меня ему.

Луис Лингг твердо посмотрел мне прямо в глаза, но на сей раз шока не случилось. Глаза у него были серые с черными зрачками и черными ресницами, внимательные, изучающие, однако в них не было ничего такого выдающегося, что я себе навоображал. Все же в будущем мне не раз приходилось видеть в них подтверждение недюжинной силы Лингга. Пока я смотрел на него, стараясь запечатлеть в памяти его черты и пытаюсь понять, что такого поразительно-го и сверхчеловеческого я смог углядеть в нем в первый раз, мисс Миллер принялась пенять ему за молчание о полицейском и мальчике.

— Я ничего не сделал, — произнес он спокойно, в несколько замедленном темпе.

— Еще как сделал! — воскликнула она с восторгом. — Ты оттолкнул полицейского и спас мальчика, а потом удалился, словно ничего не произошло. Я так и вижу тебя там. Мистер Шнобельт все нам рассказал. А почему ты молчал?

Он пожал плечами.

— Пожалуй, пора начинать собрание.

Но собрание пришлось отложить. К нам приблизился Шваб, собиравший пожертвования.

— Для миссис Шеллинг.

— Для кого? Кто это? — спросил я.

Лингг как будто обрадовался вопросу и вежливо ответил:

— Мы говорили об этом на прошлом собрании, отравление свинцом. Миссис Шеллинг — вдова с больным ребенком. Боюсь, она долго не протянет, ей совсем плохо.

— Ага! — воскликнул я. — И часто такое случается?

— Очень часто, — ответил Лингг, — среди маляров. Вы, верно, слышали о параличе запястья?

— Нет. Разве женщины тоже работают малярами?

— Не малярами. Они работают на производстве свинца и в типографиях, — сказал Лингг. — Хуже всего то, что женщины больше подвержены отравлениям, больше страдают, чем мужчины. Часто умирают всего за несколько недель.

— Боже мой! — воскликнул я. — Как ужасно!

— В отравлении свинцом есть одно преимущество, — с горечью продолжал он, — у семейных пар редко бывают дети, обычно происходят выкидыши или дети умирают в младенчестве, правда, бывает еще, что на свет рождаются идиоты.

— Жуть! — не выдержал я. — Разве нельзя чем-нибудь заменить свинец?

— Можно, — ответил он. — Цинком. Французская палата собирается запретить свинец; Конгресс против. Неплохо, да? Естественно, демократическому американскому правительству плевать. Здоровье рабочих его не беспокоит.

— И боли очень сильные?

— Иногда чудовищные. Я видел, как слепли юные девушки, как они впадали в паралич, как сходили с ума, как умирали. — Он помолчал. — Мы всегда рады чем-нибудь помочь, но вам не обязательно подписываться — это дело добровольное.

С этими словами он зашагал к маленькому столику, и Рабен тотчас последовал за ним.

Сказанное Линггом произвело на меня огромное впечатление. Он показал мне другую жизнь, которой я не знал.

Все еще пытаюсь разобраться в том, почему он мне так сразу понравился, я сел рядом с мисс Миллер за длинный стол. После недолгой суматохи поднялся один из присутствующих и на английском языке дал отличное описание побоища между полицейскими и забастовщиками. Я был поражен сдержанностью его высказываний, тем, как он точно и объективно изложил суть конфликта. Наверняка, он испытывал на себе влияние Лингга. Когда выступавший сел, ему немного поаплодировали. После него встал Луис Лингг и сказал, что собрание благодарит мистера Коха за его отчет, а теперь с удовольствием послушает профессора Шваба.

Желчный доктринер Шваб говорил бессвязно и непродуманно. Он знал все о политической экономии, как только немец может знать изучаемый им предмет, знал английскую и американскую школы, французскую и немецкую, он изучил все школы с энциклопедической дотошностью, однако его собственные взгляды выдавали наследие Лассаля и Маркса с примесью Герберта Спенсера.

В одном он был уверен наверняка — в том, что индивидуализм зашел слишком далеко, особенно в Америке и в Англии. «Нет давления извне, — говорил он, — на эти страны, поэтому атомы, составляющие социальный организм имеют тенденцию разбегаться. Здесь и в Англии индивидуализм принимает ужасающие формы. — И он весьма эмоционально процитировал Гете:

Решимость жить

Красиво, сильно, полно.

Меня раздражали и его властность, и его начитанность, и его мягкотелость. Я не хотел моря слов, которые вымывали из моей памяти воспоминания о пережитом мной ужасе; о буре жалости и гнева, владевших мной тогда. Что-то такое я сказал Иде Миллер, и она немедленно отреагировала: «Скажите же об этом, прямо так и скажите. Правда всем нам на пользу».

Итак, я встал и подошел к маленькому столику. Я спросил Лингга, могу ли выступить, а потом сел на место и стал дожидаться своей очереди. Однако Лингг почти сразу официально объявил, что собрание будет иметь честь выслушать мистера Шнобельта. Я начал с того, что мне кажется неправильным говорить, будто Америка страдает от излишка индивидуальной свободы, когда нас забирают до смерти за выражение в законном порядке своих мыслей. Американцы лелеют свое право на свободу слова, однако отвергают его для иностранцев, хотя мы тоже американцы, и они отличаются от нас лишь завидным титулом рожденных в Америке, так как их родители опередили нас лет на двадцать-сорок.

— Не знаю, — продолжал я, — возможно равенство или невозможно. Я пришел в этот «Lehr Verein», Клуб взаимного обучения, желая узнать все, что вы можете мне сказать, о вероятности равенства. В природе равенства нет; нет равенства и среди людей, если говорить о способностях и физической силе; так о каком же равенстве идет речь? Но, как мне кажется, можно честно соревноваться, имея равные права, — сказал я, поклонился и вернулся на свое место рядом с Идой Миллер.

— Отлично! Отлично! — проговорила она. — Это понравится Луису.

Лингг опять встал и спросил, не хочет ли кто-нибудь высказаться. По комнате пробежало приглушенное: «Лингг, Лингг». Он поклонился, потом проговорил, не повышая голоса, словно продолжая начатую беседу:

— Наш последний оратор усомнился в возможности равенства. Конечно же, полное равенство невысказано, но после Французской революции мы очень приблизились к равенству, мы стремимся к нему. Тщеславие — сильнейшая страсть человека после жадности, — произнес он, как бы размышляя вслух. — До Французской революции считалось нормальным, если господин благородных кровей тратил сотни тысяч ливров в год на свои наряды. Думаю, профессор скажет вам, что при французском дворе были люди, которые тратили на одежду столько, сколько в год зарабатывали сотни рабочих.

Французская революция покончила с этим. Она привела одежду мужчин



в соответствие с индустриальным веком. Мы больше не одеваемся как солдаты или денди, мы одеваемся по-рабочему, и разница в стоимости наших костюмов всего несколько долларов или несколько десятков долларов в год. Мужчину в кружевной рубашке или с бриллиантами на туфлях, стоящими сто тысяч долларов, примут за сумасшедшего. Такая экстравагантность стала невозможной. Так почему не может случиться еще одна революция, которая приблизит нас к равенству в оплате наших услуг? Я мечтаю, нет, не о равенстве, которое не кажется мне возможным и желанным, но о великом движении к равенству в оплате индивидуальной работы всех и каждого.

В это время ему подали записку, и он попросил разрешения ее прочитать. Прочитав записку, он продолжал также неторопливо и спокойно:

— Я сказал все, что хотел сказать. Однако один из присутствующих просит меня высказаться о сегодняшнем нападении полицейских. — Он оглядел сидевших за столом, и дрожь охватила всех тех, кто перехватил его взгляд. Потом он опустил голову. — У меня нет слов. Все мы надеемся, что ничего подобного не повторится. Больше я сегодня не скажу ничего, хотя . . . — Слова слетали с его губ, словно пули. — Хотя наше Общество, созданное для взаимного обучения, создано и для защиты тоже.

В его голосе я уловил угрозу, которую не мог объяснить. Лингг выглядел угрюмым, а его слова, утраивая, отдавались и отдавались, словно эхом, у нас в ушах.

— Нельзя отвечать на дубинки словами, — продолжал он, — нельзя и подставлять вторую щеку. На насилие надо отвечать насилием. Американцам отлично известно, что одно в той же мере порождает другое; давление и взрыв равно сильны и противоположно направлены.

Неожиданно он умолк, поклонился нам, и собравшиеся заговорили все сразу — заговорили торопливо, словно стараясь избавиться от того впечатления, которое произвели и речь Лингга, и его поразительная личность. В первый раз в жизни я встретился с человеком, который был мудрее, чем я мог представить, который каждое мгновение поражал окружающих новыми мыслями, все существо которого было такое, что окружающие постоянно ждали от него большего, чем от других людей.

С восторгом я обернулся к мисс Миллер.

— Вы правы, — сказал я, — это великий человек. Луис Лингг — великий человек. Мне бы хотелось узнать его получше.

— Я рада, — только и проговорила она, но ее лицо просветлело от моей похвалы. — Нет ничего проще. Если у него не назначено больше никаких встреч, то пойдете к нам домой.

— Вы живете с ним вместе? — переспросил я в изумлении и не понимая, что я говорю.

Но она ответила просто, без фальшивых эмоций, словно ничего особенного не произошло:

— Ну да; мы не верим в брак. Луис считает, что законы морали — это законы здоровья, а брак — глупость и не имеет значения для мужчин и женщин, которые хотят быть честными друг с другом.

В тот вечер один шок сменялся для меня другим. Я во все глаза смотрел на Иду, не веря своим ушам. — Вы удивлены, — рассмеялась Ида, — но ведь мы анархисты и бунтари. Привыкайте.

— Анархисты! — повторил я, не в силах справиться с волнением.

Не знаю уж, как я досидел до конца собрания, но в конце концов оно закончилось. Мы выпили по паре стаканов пива за процветание нашего дома и разошлись, но прежде Лингг дал мне свой адрес и сказал, что будет рад повидаться на завтра или в любой другой день, когда мне удобно.

— Я читал ваши статьи, — сказал он, — и они мне понравились. Вы пишете искренне.

Я смутился и покраснел; никогда еще похвалы не значили для меня так много. Ушли мы вместе с Рабеном, и я, рассчитывая побольше узнать от него о Лингге, стал с восторгом его расспрашивать, однако вскоре обнаружил, что Рабен совсем не рад этому, да и не знал он о Лингге почти ничего, так как гораздо больше его интересовала мисс Миллер, чьи отношения с Линггом он считал не достойными ее. В тот вечер у меня появилось ощущение, что Рабен пачкает все, к чему прикасается. При первой же возможности я пожелал ему «спокойной ночи» и поспешил домой, чтобы привести в порядок мысли и обдумать те новые, что Лингг заронил мне в голову, но, главное, тот новый дух, который он вдохнул в меня. Неужели одному человеку под силу выступить против всего общества, под силу бросить вызов целому обществу? Как же? . . .

## Глава IV

Для меня начался период быстрого возмужания; возмужания мыслей, благодаря беседам с Линггом, и возмужания чувств, так как я лучше узнавал мир, себя, женщин, благодаря моим отношениям с Элси Леман. Много месяцев мы постоянно встречались с Линггом, частенько проводили вместе целые дни, но ни разу наше общение не закончилось без того, чтобы я не узнал от него что-то новое. Сколько раз я пребывал в уверенности, что теперь-то уж ничего нового он мне не скажет, а он так поворачивал разговор, что возникали и новый предмет разговора, и новые идеи, и он по-новому отзывался о том и о другом. Тогда, я хорошо запомнил, меня это поражало, потому что мне самому нравилось высказывать идеи, делать смелые обобщения, словно на золотую нить нанизывать сотню фактов-жемчужин. Еще до встречи с Линггом у меня был неплохой запас знаний о разных школах и о разных книгах. Я довольно много читал греческих и римских авторов, а также лучших французских, немецких и английских писателей. Поразительным оказалось то, что Лингг-то как раз читал мало. Часто случалось, что, обсуждая ту или иную социальную тему, я говорил: «Эта мысль принадлежит Гейне», — или: «Эта мысль принадлежит Гете». Он морщил лоб, ведь это были его мысли. Казалось, он начинал там, где другие обрывали мысль; если бы я попытался объективно представить его плодотворные идеи и великолепные догадки, которые возникали естественным образом в пылу спора, разлетались искрами, когда он защищал свою точку зрения, то у меня получился бы педант, мыслительная машина, а Луис Лингг не был таким; он был добрым другом и страстным любовником. Каких только противоречий и аномалий не заключал он в себе, не отличаясь этим от любого другого человека; однако он воспринимал экстремальные проявления жизни мудрее остальных. Он был поразительным человеком; обычно спокойным, рассудительным, замкнутым, судящим о людях и вещах в полном соответствии с их ценностью, как реалист; а в следующую минуту он уже весь пламя и страсть — настоящий гений самопожертвования.

Чтобы показать силу и чистоту его мысли, я должен рассказать еще об одной из его речей в клубе. Когда я слушал ее, она казалась мне столь же мудрой, честной и сдержанной, сколь убедительной.

Лингг начал с того, что главное зло современного общества продемонстрировало себя впервые к концу восемнадцатого столетия. «Этот период знаменит изобретением прядильной машины, использованием пара как движущей силы, публикацией «Богатства народов»<sup>1</sup>, в которой впервые было заявлено об индивидуализме. Как раз в то время, когда человек, используя силы природы, в

<sup>1</sup> «Исследование о природе и причинах богатства народов» — книга Адама Смита (1776), один из классических трудов современной политэкономии.

десятки раз увеличил производительность труда, был предложен и захватнический принцип индивидуальной жадности. А теперь посмотрим на последствия этой ошибки в конкретной форме: дороги всегда рассматривались в качестве национальной собственности, они дешевы и управляемы местными властями, зато железные дороги появились уже как индивидуальная собственность. Землю тоже — во всех странах — государство так или иначе передавало в индивидуальное владение, но от одной трети до половины оставалось в общем владении, а теперь что? Теперь она вся в частном владении. И тотчас социальный организм начал болеть. Богатство есть, но бедные стали еще беднее, рабочие дома переполнены; теперь мы видим все более расширяющуюся пропасть между богатыми и бедными. . .

Теперь лекарством считается социализм, или коммунизм. Надо отобрать все у индивидуума, кричит Маркс, и жизнь сразу наладится. Естественно, это эксперимент. Цивилизация, как мы ее понимаем, основана на индивидуализме; но разве можно уничтожить индивидуализм, не сломав социальную структуру? Я согласен с профессором Швабом, мы страдаем от слишком неуправляемого индивидуализма, проблема в том, как его ограничить и как много нам нужно социализма? Ответ, насколько я понимаю, ясен. Индивидуума не надо ограничивать там, где его можно контролировать, где он вынужден быть честным; однако все остальное, где он может объединиться с другими индивидуумами в акционерные общества и увеличить свою мощь, чтобы грабить общество, должно быть во власти государства, муниципалитетов, естественно, начиная с того, что совершенно необходимо для процветающей политической жизни.

Я считаю также, что земля должна принадлежать народу, и ее надо отдавать для обработки в аренду на необременительных условиях, потому что крестьянская жизнь поставляет государству самых крепких и здоровых граждан. Железные дороги и средства коммуникации должны быть национализированы, тем более водные, газовые, электрические компании, банки, страховые компании и так далее. Если вы посмотрите внимательнее, то обнаружите, что в этих компаниях, управляемых акционерными обществами, являет себя все зло нашей цивилизации. Это оранжереи спекуляции и воровства, где удачливый игрок или смелый вор, давайте называть их своими именами, выигрывают миллионы, которыми деморализуют общественную совесть.

Если здесь, в Америке, помимо крестьян, индустриальное население, управляющееся с железными дорогами и каналами, электричеством и водными ресурсами, получит честное жалование и люди будут уверены в завтрашнем дне, то больше станет жалование у всех рабочих, потому что частный наниматель, не умеющий обеспечить постоянную работу и высокое жалование, как в государственном секторе, не получит добросовестных рабочих».

Пока он говорил, на меня как будто снизошел свет; это была настоящая правда, которую когда-либо произносил человек, настоящая правда, проникавшая мне в самое сердце. Индивидууму может принадлежать все, чем он в силах

справляться без посторонней помощи, но не больше. Акционерные компании хуже государственных. Все знают, что они менее эффективны и более продажны. Все, что я перечитал, что пережил, соответствовало размышлениям Лингга. Я был полностью с ним согласен. Вот это человек!

Конечно же, утверждение Лингга, переданное в такой сжатой форме, не до конца раскрывает его гений; ведь тут не чувствуется его храбрости, нет живых всплесков юмора, которые нельзя повторить; и все же здесь есть правда, есть вино мысли, пусть даже сама мысль стала немного более плоской. Тот вечер особенно запомнился мне еще и по другому поводу. Нам представили рабочего, страдавшего «фосфорной челюстью»; он работал «окунальщиком», то есть на спичечной фабрике в восточной части города. Та «масса», в которую погружают головки спичек, сама по себе теплая, жидкая и содержит пять процентов белого фосфора. От нее поднимаются пары с содержанием фосфора. Конечно, на фабрике используют вентиляцию, но ее недостаточно, и у всех рабочих плохие зубы. У того рабочего, которого привели к нам, зубы поначалу были хорошие, но потом сломался нижний зуб, и с него все началось. Человек сделался до странности апатичным; но тщеславие как мотив поведения столь сильно, что он как будто стал гордиться тем, на что стала похожа его нижняя челюсть.

— Мне плохо, — говорил он. — Доктор сказал, что никогда не видел ничего ужаснее. Посмотрите. — И он, запустив палец в рот, вытащил нечто вроде щепки. — Плохо, да?.. Уже двенадцать недель, как я не работаю. Я гнию, — доверительно проговорил он, — вот что я делаю, гнию. Стоило мне сойти с тротуара и — крэк! — сломал ногу! Гнию! Да мне бы ничего, но вот жена и детишки. Боли нет никакой; бывает ведь и похуже; да и не работаю я уже двенадцать недель — многовато. Думаю, можно было бы найти замену фосфору, если захотеть<sup>2</sup>.

Он не злился из-за своей загубленной жизни, не возмущался. Я был в ужасе. Мы собрали для него в клубе почти сто долларов, и он как будто был нам благодарен, правда, не изменил своей уверенности, что ему уже ничто не поможет.

Через несколько дней после собрания в клубе я зашел к Линггу домой и узнал, как он живет. На втором этаже дома, стоявшего на довольно тихой улице в восточной части города, Лингг занимал спальню и гостиную — большую, почти без мебели. В углу около окна, который не сразу бросался в глаза, так как его закрывала входная дверь, стояли широкие сосновые полки со множеством

<sup>2</sup> Рабочий был прав. Бельгийское правительство предложило вознаграждение тому, кто найдет безопасную замену фосфору, она тотчас была найдена и широко используется. Представьте сотни умерших, муки их семей — и всего этого можно было избежать, если бы какое-нибудь правительство озаботилось этой проблемой на сорок — пятьдесят лет раньше: однако ни одно правительство не действует вопреки принципу *laissezfaire*, что можно перевести как: «Разве я сторож брату моему?» — Примеч. ред. издания 1963 г.

пробирок, придававших комнате вид лаборатории, чем, в сущности, она и была. Лингга я не застал, но Ида была дома, и вскоре мы уже говорили о Лингге. Я сказал ей, как на меня подействовали его слова, как я восхищен и потрясен его личностью.

— Вот и хорошо, — отозвалась она, — ему нужен друг.

— Для меня это была бы большая честь, — от всего сердца заверил я ее, — он великий человек и очень привлекает меня.

— Вы совершенно правы; я всегда считала, что люди с великой душой привлекают нас куда сильнее других.

Трудно было с ней не согласиться; но меня поразили ее слова, прозвучавшие как отголосок мысли Лингга.

Кажется, в тот первый раз или, возможно, немного позднее она явила мне ту сторону своего характера, которая мне сразу не понравилась. Иду, как человека уравновешенного, выбить из колеи было нелегко, и все же она постоянно прерывала беседу, чтобы в тревожном ожидании прислушаться к шагам Лингга. Когда я пошутил над ее непонятным волнением, она не стала ничего отрицать. «Если бы вы знали его, как я, вы бы тоже волновались». И опять, затаив дыхание, она прислушалась.

Со мной Ида всегда была готова говорить о Лингге, потому что, думаю, эта любящая женщина поняла с самого начала, что я тоже предан ему; и мне удалось понемножку узнать от нее обо всех сторонах его жизни. Когда ему было всего пятнадцать лет, и он первый год как учился у плотника в Мангейме, его вдовая мать осталась совсем без денег. По-видимому, плотницкое ремесло мальчик выбрал сам, потому что не бросил его, а стал работать в два раза больше, чтобы содержать и себя, и мать. Работал он много и хорошо, так что мастер предложил ему небольшое еженедельное жалование, которое увеличивал и увеличивал по собственному желанию. «Юный Лингг, — говаривал он, — стоит трех мастеров и полудюжины учеников». У матери, похоже, похвалы герра Вюрмелла не сходили с губ.

Когда Лингг закончил обучение, у него было скоплено немного денег, и он объявил об отъезде, несмотря на неплохие предложения работы в Мангейме. По какой-то причине ему хотелось стряхнуть пыль Германии со своих ног, и он вместе с матерью приплыл в Нью-Йорк. Через несколько месяцев он перевез мать из Нью-Йорка в Чикаго, потому что ее легкие не выдерживали сырой воздух Манхэттена. В Чикаго она впервые начала улыбаться; но вскоре подхватила простуду и стала быстро слабеть. Лингг все сделал для нее, ухаживал за ней днем и ночью, был ей нянькой и сыном. Подобно сильным и одиноким натурам, Лингг трудно сходилась с людьми, но тем сильнее любил тех, к кому привязывался. Он был предан своей матери, не покидал ее даже ради Иды, а когда она умерла, похоже, разлюбил жизнь и постоянно предавался мрачным раздумьям.

Иду же соблазнил богатый молодой бездельник, который потом бросил

ее, она оказалась на улице, где и встретила с Линггом, и тот, потрясенный ее несчастьем и красотой, подарил ей любовь и надежду, спас ее, как она говорила, из ада. Ида рассказывала о своей связи с Линггом как о чем-то вполне естественном, словно в этом не было ничего необычного, словно ничего не надо было объяснять, тем более прощать. Она любила его самозабвенно, нежно, не думая о себе, не отделяя себя от своего возлюбленного. После смерти матери Лингга она перешла жить к нему. Ида и Лингг были бесконечно преданы друг другу и едины телом и душой. Когда Ида говорила, то она как будто повторяла Лингга. Не хочу сказать, что она делала это намеренно, однако он сильно повлиял на ее мышление. Возможно, это было связано с их уединенным образом жизни, ведь дурацкий американский мир с презрением относился ко всем, кто не подчинялся соответствующим условностям. Как-то Лингг сказал шутя: «Нет союза, кроме союза париев; даже бездомные собаки объединяются в стаи, и только робкие люди, цивилизованные эгоисты, живут каждый сам по себе!»

Однако после долгого периода безоблачного счастья Ида начала бояться за Лингга. «Он принимает близко к сердцу забастовки, — говорила она мне, — любое насилие приводит его в бешенство. . . » Она смотрела мне в глаза, наверно, рассчитывая разглядеть в них понимание. Но тогда я ничего не понимал, зато теперь, когда прошло столько лет, многое видится мне яснее. Хотя Лингг был сильнее и решительнее Шелли, все же своей невероятной силой и решительностью он напоминал английского поэта. Он тоже

. . . вспыхивал всегда Там, где другому не видна беда.

Наверное, Ида в ужасе представляла, что может случиться; или, как любящая женщина, она все знала заранее? Думаю, да; но прав я или нет, тогда я был совершенно слеп, ничего не предвидел и даже позволял себе подшучивать над страхами Иды.

Однажды, когда я узнал Лингга получше, мы встретились с ним в суде: Фишер подал иск против полицейского Бонфилда, избившего его. Я был одним из свидетелей, а всего нас пришло трое или четверо. Все мы поклялись в том, что Фишер не трогал Бонфилда, а лишь протестовал, когда Бонфилд ударил Филдена. Зато восемь-девять полицейских вставали один за другим и клялись в том, что Фишер ударил Бонфилда, правда, они признавали, что у Фишера не было оружия. Все же присяжные поверили, будто сначала ударили Бонфилда, а уж потом он, защищаясь, отдубасил безоружного человека. Вердикт в пользу полицейского был воспринят с радостью. Аудитория в сотни человек в один голос поддержала ложь и одновременно поддержала насилие, исходившее от полицейских, — выдала насильнику Бонфилду лицензию на еще более жестокое насилие в будущем.

Не знаю, как это одобрение подействовало на остальных, но во мне словно разверзся ад, и я оглядел всех присутствовавших в суде — пытавшихся сделать из нас преступников. В этот момент я перехватил горящий взгляд Лингга, на-

правленный на Бонфилда, и увидел, как Бонфилду неловко под этим взглядом. В следующее мгновение Лингг опустил глаза. Мы покинули здание суда.

— Бесчестный, бесчестный вердикт, — восклицал я.

— Да, — согласился Лингг, — предрассудок еще слишком силен: сначала должно стать хуже, прежде чем будет лучше.

Он имел в виду суд, радость полицейских, презрение на лицах людей, пришедших поглазеть на нас, бедных иностранцев, всего-навсего пытавшихся добиться справедливости.

Я шагал рядом с Линггом, молчание становилось зловещим.

— Проклятье! — в отчаянии произнес я. — Что же делать?

— Ничего, — прозвучало в ответ. — Время еще не пришло. Я смотрел на него во все глаза, и сердце громко колотилось у меня в груди.

— Еще не пришло, — повторил я. — О чем вы? Он внимательно поглядел на меня.

— Ни о чем. Давайте поговорим о другом. Вы видели Парсонса?

— Нет, — ответил я, — не видел. Но скажите мне. Парсонс и остальные уверены, что богатство стало синонимом грабежа, и они отвергают богатых как грабителей. Вы с ними согласны?

— Небольшое благополучие, — сказал он, повернувшись ко мне, — может быть нажито честным путем, богатство же всегда результат жадности, а не показатель недюжинного ума. Если человек по-настоящему умен, ему нужно еще много чего, помимо денег, даже больше, чем денег, разве не так? А богачи, которых я знаю, хитрые и мелочные, только и всего. Никто, кроме удачливого изобретателя, еще не сделал миллион долларов честным путем.

— Но почему же мы так страдаем? Неужели нельзя побороть нищету?

— В общем, можно. Германия намного богаче и счастливее Америки.

— Это правда! — воскликнул я. — Но почему?

— Наибольший недостаток здешней цивилизации, — сказал Лингг, — заключается в том, что она недостаточно сложная. Перед всеми один приз — богатство. А ведь многие хотят не богатства, а спокойной жизни без страха за завтрашний день. Мы хотим получать столько же денег, сколько наемные служащие в государственном секторе. Это избавит нас от конкуренции и повысит зарплаты тех, кто остается в сфере конкуренции. Некоторые из нас рождены, чтобы всю жизнь учиться, поэтому на всех улицах должны быть химические лаборатории, во всех городах — физические лаборатории с вакансиями и небольшим жалованием для людей, которые не мыслят своей жизни без науки, должны быть студии для художников, должны быть театры с государственными дотациями. Жизнь, стоит ее сделать сложнее, становится богаче. Но если не оставить что-то государству, а передать все в частное пользование, мы вовлечем всех людей в сумасшедшую гонку за богатством; никогда не избавимся от страданий, нищеты, недовольства, болезней. Мозг и сердце имеют свои права, нельзя же угождать только животу. Так мы и цветы



превратим в удобрение.

Пока он говорил о жадности как о человеческом воплощении, я думал об Элси, и, кажется, он понимал, что я не очень слежу за его мыслью, поэтому умолк и мы перешли на беседу, доставившую нам обоим больше удовольствия.

У него дома я взял со стола книгу, и это оказалась книга по химии, причем не из примитивных, с количественным и качественным анализом. Представьте мое изумление! Я взял другую книгу: анализ газов и взрывчатые вещества. Видно было, что ее читали и перечитывали.

— Поверить не могу, Лингг, вы химик? — воскликнул я.

— Кое-что почитал по химии.

— Кое-что, — повторил я. — Но почему химия?

— Это нетрудно, если иметь навык чтения.

— А я почти ничего не знаю, — признался я. — Не знаю даже, как взяться за дело, чтобы чему-нибудь выучиться. В первый же месяц не потяну.

Лингг улыбнулся мне своей загадочной улыбкой, к которой я уже начал привыкать.

— Но ведь у меня полно преимуществ, — продолжал я. — Меня, как положено, обучали греческому и латинскому языкам, элементарной математике, другим наукам, показывали, как надо учиться. Наше образование немногого стоит.

— Думаю, ваше образование помогло вам выучить английский, вы говорите лучше меня.

Тогда я принял это как очевидный факт, однако позднее у меня появились основания усомниться. Лингг не копировал окружающих, он говорил с сильным южно-немецким акцентом, однако английский язык он знал на удивление хорошо. Он не затруднялся при подборе слов в разговорной речи, видимо, потому что его словарный запас был богаче. Но тогда я принял его утверждение как должное. Когда минутой позже в комнату вошла Ида, мы уже опять говорили о книгах.

— Удивительно, что такое книги, ведь самое большое удовольствие в нашей жизни — чтение. А занятие это недавнее. Три-четыре века назад только у самых богатых имелось не больше полдюжины книг. Я помню, в завещании принцессы Висконти было указано много всяких богатств и три книги. Сегодня даже у бедняков есть несколько дюжин шедевров.

— Спорное утверждение, — отозвался Лингг. — Самой большой удачей было, когда я осознал, что не могу иметь книги. Я работал день и ночь, чтобы иметь деньги на жизнь, поэтому у меня не было времени читать. Мне пришлось решать все мучавшие меня проблемы самому. Наше образование зиждется главным образом на книгах, но книги развивают память, а не мышление. — Значит, вы считаете, что греческий и латинский языки не нужны, но на самом деле они дисциплинируют разум.

— У меня нет права решать, — ответил Лингг, — ведь я ничего не знаю о них, и все, что читал, читал в переводе, хотя мне действительно кажется, что они не

нужны. Разве греки читали на мертвых языках? Разве знание греческого языка как-то помогло римлянам улучшить их латинский язык? Или они мучались бы без него? Мы слишком много времени живем в прошлом, — резко проговорил Лингг. — Мы живем в прошлом, его страхи сковывают, парализуют нас. Надо жить в настоящем и будущем. Я не очень-то интересуюсь поэзией, но одна строчка застряла у меня в голове:

. . . Пусть наши души в будущем живут, Благодаря невидимым истокам.

— Невежественны мы даже в языках, невежественны в очень важных для жизни вещах. Мы начинаем свой жизненный путь в восемнадцать или девятнадцать лет, ничего не зная о собственном теле и почти ничего не зная о своих чувствах и их последствиях. Нам всем надо изучать физиологию, как сохранить здоровье, не разбазаривая его впустую — это жизненно важно. Нам необходимы хотя бы начальные знания химии и физики. Романтикам надо преподавать основы астрономии и учить тому, как пользоваться телескопом, а тех, которым интересна мельчайшая жизнь, учить пользоваться микроскопом. Нам нужно учить наш родной язык, немецкий или английский. Господи! Какое наследие получили англичане и американцы, и они пренебрегают своим всемирным языком ради поверхностных познаний в греческом и латинском.

— Может быть, подышим воздухом, а то завтра я выхожу на новую работу. Одевайся, Ида. Наши каникулы, кажется, подходят к концу.

— Этим вы занимались на каникулах? — спросил я, показывая на книгу о газах. Еще одна загадка. Он кивнул. — Но зачем вам это? — продолжал я расспрашивать. — Разве анализ газов не слишком специальная тема?

— Да нет, — не задумываясь, ответил он. — Я считаю, что нужно знать понемногу обо всем и всё о чем-нибудь одном. Жизнь пуста, если постоянно не освещать знанием еще немного тьмы.

У меня перехватило дыхание. Лингг говорил о расширении пространства знаний так, как будто не было ничего проще. А впрочем. . . Мы вышли на солнечный свет. Такие ясные приятные зимние дни в Америке можно сосчитать по пальцам. Мы прошли, верно, несколько миль по берегу озера, но разговаривал я в основном с Идой. Потом мы поели и вернулись домой.

В двадцатый раз я обратил внимание на недюжинную силу Лингга и не мог не заговорить об этом, потому что он поднял тяжелый стул и передал мне его над столом, словно вилку или ложку, чем удивил меня. Его тело было потрясающе сильным — так же, как мозг.

— Все очень просто, — воскликнула Ида. — Он каждое утро пробегает около мили и возвращается мокрый, как мышь.

Вернулись мы с озера, когда уже наступили сумерки, и Ида и Линггом стали уговаривать меня пойти с ними в театр на немецкую пьесу, комедию, кажется, Гартлебена, но я не мог. У меня было кое-что запланировано на вечер, поэтому я попрощался с Идой и Луисом и поспешил к Элси. По дороге я только и делал, что задавал себе вопрос: «Что имел в виду Лингг?» В конторе Спайса,

на собраниях Парсонса мне приходилось слышать туманные угрозы, однако я не очень обращал на них внимание. Мне было ясно, что Парсонс выпускает пар в разговорах, а Спайс — в статьях, но когда Лингг говорит, что время еще не пришло, это наполненное угрозой «еще» — ужасно. Сердце у меня забилося сильнее, когда я вспомнил его тихие спокойные слова и спокойный тон. А еще книжки по химии и в них места, посвященные современным взрывчатым средствам, — все формулы подчеркнуты. Боже мой! Мне показалось, что я столкнулся с чем-то слишком мощным для меня и теперь мне лишь остается ждать чудовищного удара.

— Ты не спишь, случаем? — услышал я чей-то голос и, обернувшись, увидел Рабена. — Я видел тебя в суде, но вы с Линггом меня не заметили, а потом, едва вынесли вердикт, ты исчез. Я искал тебя. Глупо, правда?

— Не понимаю, — ответил я. — Мне казалось, дело ясное, а вердикт вынесли нечестный.

— Неужели ты ждал, что американские присяжные пойдут против полиции и станут защищать эпилептика, вроде Фишера?

— Да, ждал. Я ждал честного вердикта.

— Честного, — повторил Рабен, пожимая плечами. — Присяжные поверили десяти американским полицейским, а не четырем иностранцам, что же тут нечестного?

— Значит, я лгун? — сорвался я на крик.

— Мой дорогой Шнобельт, даже ты можешь ошибаться, да и утверждение всегда сильнее отрицания. Полицейские говорили, что видели, как Фишер ударил Бонфилда. Тебе оставалось лишь отрицать это, но ведь ты мог и не видеть, как он ударил полицейского.

Спорить было бессмысленно, Рабен свято верил в свою правоту. Тогда я попытался повернуть разговор в другую сторону.

— Ты все еще работаешь на «The New York Herald»?

— Да. И им нравится, как я пишу. Сегодня я подкинул им сенсацию, послал сообщение еще прежде, чем закончили допрос полицейских. Я знал, как все будет. — Он резко повернулся ко мне. — Могу я говорить с тобой откровенно?

— Конечно. В чем дело?

— Знаешь, не стоит тебе так много вертеться вокруг Лингга. О нем ходят нехорошие слухи, рассказывают всякие истории. Похоже, он сдвинулся на своих идеях.

Я едва не сорвался во второй раз, но мне не хотелось давать ему повод думать, будто он достал меня.

— Правда? — переспросил я. — Его болезнь не заразная, как ты думаешь?

И я расхохотался — жаль, что гениальностью не заразишься. Заглянув в глаза Рабена, я увидел в них одну злобу.

— Ладно, — холодно произнес он, — но помни, я тебя предупредил. Знаешь, не удивлюсь, если Лингг сам соблазнил мисс Иду и послал ее на улицу —

прелестная парочка!

Его тон был еще отвратительней, чем слова. Кровь бросилась мне в голову, однако я заставил себя сохранить внешнее спокойствие, чтобы не доставить удовольствия злобной твари.

— Я знаю все, что мне надо знать, — ответил я, не выказывая волнения. — А теперь, до свидания.

И мы разошлись в разные стороны. «Вот гадюка!» — подумал я, а потом мне пришло в голову, что скорее всего Рабен ревнует. Тогда я еще не догадывался, к чему могут привести зависть и ущемленная гордость. Рабен зол от природы, решил я, и перестал думать о нем. Если бы я знал тогда, до чего он зол. . . но, может быть, к лучшему, что мы не видим дальше собственного носа.

Я обещал встретиться с Элси. Обычно мы виделись три раза в неделю и еще проводили вместе весь воскресный день. К моему большому сожалению, хотя я представил Элси и Иде, и Линггу, она не подружилась с ними; ей не понравилось, что Ида называет себя мисс Миллер, а сама открыто живет с Линггом.

— Если бы она называла себя миссис Лингг, меня бы это так не трогало, — говорила Элси, которая всегда придерживалась мнения большинства и установленных обществом правил. Все необычное, исключительное было для нее неправильным. Например, Ида никогда не носила корсет, а Элси не выходила без него из дома, хотя ее худенькая фигурка, округлые груди и узкие бедра гляделись бы без него лучше, чем более пышные формы Иды.

Много раз я пытался все это как-то объяснить себе, но безуспешно. Элси была не глупее Иды, иногда мне даже казалось, что она умнее, и уж точно Элси была темпераментнее — неужели она так боялась своих страстей, что пряталась за общепринятыми нормами?

Как бы там ни было, но именно ее противоречивость делала ее такой притягательной для меня; страстные импульсы, бьющиеся, как волны, о стену самоконтроля, придавали ей невероятное очарование. Будь она льдышкой, я бы никогда даже не посмотрел на нее; дай она волю своим страстям, я бы любил ее; но не обожал, и моя любовь не доходила бы до экстаза, подхлестываемая постоянной сменой «да» и «нет». Каждый раз, когда мы встречались, мне приходилось заново завоевывать Элси, однако разговоры о Лингге, о силе страстей, вырывающихся наружу, подсознательно мучили меня, когда я был с нею.

И дело совсем не в том, что я хотел ее соблазнить, хотя такие мысли приходили мне в голову; природная страсть слепо ищет удовлетворения; мужчины и женщины равно игрушки в руках природы.

Мне казалось, что понемногу Элси сдается. С тех пор, как я начал писать для американских газет и зарабатывать больше денег, мне удавалось сводить ее в ресторан и в театр, а потом отвезти домой в такси, что доставляло ей едва ли не самое большое удовольствие. Однажды вечером моего соседа не было дома.

Мы поужинали вместе, а потом разговаривали у камина. Элси, не дожидаясь моих просьб, села мне на колени. Пробыв в моих объятиях около часа, она как будто начала сдаваться. Но вдруг встала и отошла подальше. Я не удержался от упрёка.

— Будь я богат, ты бы вела себя иначе.

— Если бы ты был богат, — проговорила она, глядя мне в лицо, — все было бы легче; ничего не может быть приятнее, чем подчиняться любви.

Она покраснела и стала смотреть на огонь. Не прошло и минуты, как Элси заговорила вновь, словно сама с собой:

— До чего же я ненавижу бедность, ненавижу, ненавижу! Всю жизнь я была бедной, — сказала она, сидя на ручке кресла и глядя мне прямо в глаза. — Ты не представляешь, каково это.

— Неужели?

— Нет, ты не представляешь, что такое для девушки быть бедной, — продолжала она, — отвратительно бедной, бедной из бедных, ходить в школу с ледяными ногами, потому что ботинки старые и все в заплатках; просыпаться по ночам и видеть, как мама старается наложить еще одну заплатку и плачет над ними. Под бедностью я имею в виду холод зимой, от которого не спасают ни хлеб с маслом, ни кофе.

Она умолкла, а я терпеливо ждал, когда она заговорит опять, и сердце у меня разрывалось от боли.

— В детстве я всегда была голодной, а зимой еще и мерзла. Такое у меня было детство. Потом я выросла и поняла, что хорошенькая и могу привлекать мужчин. Думаешь, мне не хотелось ходить в рестораны и носить красивые платья?

Но я не делала этого из-за мамы. Она у меня хорошая, вот только не всегда же ей быть бедной. Нет, сэр, нет, если это зависит от меня, клянусь тебе, я этого не допущу. — И она гордо подняла головку. — Я умру ради нее, если понадобится, потому что она живет ради меня. Я хочу, чтобы у нее было все самое лучшее.

Можешь думать обо мне что хочешь; но девушкам нужны деньги и маленькие радости больше, чем мужчинам, — продолжала она. — Полагаю, мы не такие сильные. Помню мальчишек, которым нравилось сражаться с холодом и голодом. Мы же хотим быть красивыми и ухоженными.

В эту минуту она была до того красивой, что я не удержался, обнял ее и стал целовать со словами:

— Все это я заработаю для тебя, и не только это, у тебя будет все, но только не сразу.

— А если нет? Если никогда не будет? — Элси отстранилась. — Девушки не любят рисковать. Я ненавижу взлеты и падения. Мне нужен уютный дом и много красивых вещей, чтобы всегда были только красивые вещи.

— Боишься рисковать? — переспросил я.

— Да не в риске дело и даже не в бедности. Но как ты думаешь, что я буду чувствовать, если из-за меня ты не справишься? Да-да, время от времени напряжение будет слишком невыносимым. А вдруг ты лишишься работы, вдруг наступят тяжелые времена, и тебя попросят уйти? Тогда — тогда я буду лишь обузой для тебя. И еще моя мама. Нет, сэр. Лучше любви нет ничего на свете. Но все равно я не обручусь с тобой и не отдамся тебе, ведь это одно и то же, и тебе не следует обижаться.

Я не обижался. Быть с ней — больше мне ничего не было нужно, и я вновь принялся целовать ее и шептать всякие глупости, словно пьяница вернулся к своей бутылке, наркоман — к трубке с опиумом, желая придать жизни высший смысл, сделать реальность более насыщенной.

Не надо думать, будто наши отношения сводились исключительно к ласкам; в наших отношениях было столько же духа, сколько плоти. Все чаще я декламировал ей немецкие стихотворения, переводил их на английский язык, немного Гейне, немного народных песен, этих перлов, спрятанных в грубой жизни простого народа, слов, идущих из самого сердца и обращенных ко всем людям земли. Помнится, однажды она заплакала над четырьмя строчками Гейне, которые вобрали в себя всю боль жизни и превратили ее в чистую красоту:

Старинная сказка! Но вечно Останется новой она; И лучше б на свет не родился Тот, с кем она сбыться должна.

Мы сидели, обнявшись, как дети, пока слезы мировой печали текли у нас из глаз. Рассказывая историю моей любви, нежности, обожания, я не могу передать в точности всю задушевность наших отношений, но она была всегда, правда, мне кажется, что скучно читать о том, в чем никогда не было никакой скуки.

С другой стороны, моя страсть была полна больших и маленьких событий. Вот я в первый раз посмел поцеловать ее в шею (я до сих пор краснею, вспоминая об этом) — и это целая эпоха в моей жизни; каждая новая вольность пьянила меня, так что, рассказывая об этом, я мог бы создать впечатление, будто уделяю слишком большое место страсти.

Не знаю почему, но ее тело пробуждало во мне безумное любопытство. У нее были узкие прелестные руки; мне хотелось увидеть ее ножки, и я очень обрадовался, когда они тоже оказались узкими, с высоким подъемом и тонкими лодыжками. Но она не позволила мне долго любоваться ими.

— Нехорошо, Элси, — посетовал я. — Если ты отказываешь в одном, то должна позволить очень много другого, пожалуйста. — Аргумент был весомый, однако другой был еще весомее. — Я знаю, ты безукоризненно прекрасна, но прячешь себя как уродину — пожалуйста, позволь мне, позволь. Пусть хотя бы мои глаза наслаждаются тобой, пожалуйста.

Похвалы и мольбы сыграли свою роль, и я получил возможность любоваться ее изящными округлыми руками и ногами. Она была отлично сложена — то, что французы называют *fausse maigre*; тонкая кость, изящная плоть, легкая

тонкая фигурка. У меня тотчас вскипела кровь, но к тому времени я уже знал, что чем холоднее, безразличнее кажусь, тем больше мне будет позволено.

Не прошло и получаса, как она оттолкнула меня, поднялась и встала перед зеркалом.

— Посмотрите, сэръ, как у меня горит лицо и растрепались волосы. Больше мы не увидимся. Я серьезно. Это наше последнее свидание.

О, я сердцем услышал ее слова, ужасные слова, наполнившие мою душу страхом. Слепая ярость охватила меня. Чем сильнее она любила меня, тем сильнее сопротивлялась своей любви и грозила разрывом. Я все время боялся ее потерять, даже в минуты наибольшей близости я не чувствовал себя уверенным в будущем; она как будто мстила мне за свою любовь, а я, дурак, принимал это за нечестное отношение к себе. Но, так или иначе, мы всегда были готовы к разрыву, но не расходились девять раз из десяти благодаря моей покорности. Сегодня я горжусь этим, во всяком случае, мне хватало ума понять, что только покорностью я смогу одержать победу над моей гордой и пылкой красавицей.

Тогда я не знал, завоевал я ее или нет. Месяца через три, однако, мне стало ясно, что я сильно продвинулся вперед, и то, что мне запрещалось поначалу, теперь разрешалось без всяких возражений, однако потом день ото дня волны ее дозволений становились как будто все короче и короче.

Одно было очевидно. С каждой неделей я влюблялся в нее все отчаянней, с каждым свиданием все больше покорялся ей, превращался в ее раба — или, скорее, в раба собственной страсти. Как их разделить? Элси была для меня воплощенной страстью.

Наступило лето, и Элси становилась все прекрасней и прекрасней; светило солнце, платья из тонкой материи шли ей как нельзя лучше; она стала похожа на танагровую статуэтку, говорил я себе, столь же прекрасную, сколь прекрасны фигурки на греческой вазе. От свидания к свиданию я не мог забыть аромат ее губ и хрупкую округлость ее рук.

## Глава V

В результате более поздних событий моя память стала не такой, как могла бы быть; поэтому, не желая путать факты и не имея возможности просмотреть газеты, которые могли бы освежить память или, наоборот, затуманить ее, я попросту изложу свои впечатления, как они есть. Мне кажется, на то время пришлось некоторое ослабление в революционном движении и в тяжести наказания. Примерно тогда случилась забастовка таксистов, но она ни к чему не привела. Таксисты были в основном американцы, и полицейские не мешали их митингам и не ограничивали их свободу слова. Естественно, подобное предположение, оказанное американскими полицейскими американским водителям, вызвало недовольство иностранцев, которые на себе испытывали нечестность властей, не очень заметную другим. Молодые люди, а среди иностранных рабочих большинство составляла молодежь, склонны надеяться, и мы тотчас решили, что полиция стала мудрее, организованнее и нам больше не грозят избиения и жестокости, поэтому на собраниях в нашем клубе мы немедленно приняли академический тон.

Одну дискуссию подготовил я, и теперь вспоминаю о ней, потому что ясно понял тогда, как четко работал мозг Лингга даже в невыгодных условиях. Однажды я рассказал ему о «Горгии» Платона. Мне всегда казалось, что аргументы Калликла о законах были прорывом во взглядах Платона, самой разумной гипотезой на сей предмет, дошедшей до нас из древности. Лингг попросил меня выступить на собрании, и я согласился. Мой тезис был очень прост. Сократ разбивает одного противника за другим, пока дело не доходит до Калликла, которого Платон описывает как хорошо воспитанного человека мира. Как всегда, Сократ старается убежать от спора, используя риторическое утверждение о святости законов, которое позднее развивает Критон, когда заявляет, что земные законы суть слабое отражение вечных, священных законов, царящих во вселенной с начала веков, отчего неизбежно послушание им. Калликл же по-новому освещает предмет; он говорит, что законы созданы слабыми для своей защиты. Сильному нельзя ударить слабого и забрать его жену и имущество, как он сделал бы, живя по законам природы. Следовательно, законы — нечто вроде овчарни; стены поставлены слабыми в своих интересах и для своей защиты от сильных; это всего лишь классовая защита, следовательно, эгоистическая и не имеющая ничего общего с добром и злом, и ни в коей мере не священная.

Многие выступали в этом небезынтересном споре, однако ничего значительного сказано не было, пока не поднялся Лингг. Сама его манера говорить была особенной, он почти никогда не пользовался прилагательными, его фразы, как правило, состояли из глаголов и существительных, а необычная медлитель-



ность его речи была связана с тем, что, имея большой запас слов, он тщательно выбирал наиболее подходящее.

— У Калликла глупые доводы, — сказал он. — Как слабому защититься от сильного и овце — от волка? Более того, законы направлены в первую очередь не на защиту людей, как было бы, если бы их создавали слабые, а на защиту собственности, следовательно, они созданы сильными. Даже в нашем христианском городе можно жестоко избить человека, нанести ему едва ли не смертельные раны, а потом заявить о состоянии возбуждения или ярости, заплатить пять долларов с четвертью и не думать об ответственности. А вот отнимите у человека пять долларов, даже не ударив его, и вас наверняка засадят в тюрьму на полгода, причем обвинителем выступит государство. Законы созданы для защиты собственности, они созданы сильными в своих интересах; волк хочет быть уверен в мирном наслаждении своей добычей.

Опять этот человек произвел сенсацию; правда, на сей раз поднялся Рабен и попытался рассеять впечатление, произведенное Линггом. Он нес свою обычную скучную чушь, мол, законы защищают и слабых, и сильных и сами по себе хороши. Он даже процитировал Шиллера: «Sei im Besitz. . .» Это нечто вроде поэтической перефразировки американского выражения: «В законах девять частей отдано собственности», — правда, Рабен не заметил, что Шиллер говорил об этом иронически. На его выступление почти никто не обратил внимания, и уж точно никто не отозвался на него, отчего, естественно, Рабен пришел в ярость, хотя и отнес наше молчание на счет зависти.

Я не мог не спросить Лингга, как он надеется что-нибудь улучшить, если законы действительно писаны сильными в своих интересах. И он ответил сразу же, видно, много думал об этом раньше, потому что иначе я не могу объяснить четкость его ответа:

— Во все времена, — сказал он, — волки принимали сторону овец, то ли из жалости, то ли из убеждения, что надо немного подбросить бедным, если они сами хотят жить лучше. Мне кажется возможным, — продолжал он не торопясь, — что люди постепенно становятся лучше, благодаря собственным задаткам, ибо сильные все чаще и чаще принимают сторону слабых, благодаря заложенному в них чувству справедливости. Человек теперь может производить в десять раз больше, чем прежде, когда не знали преимуществ пара и электричества; и нам кажется, что рабочий имеет право на часть лишнего продукта. Поэтому даже те, кто мог бы взять все, вынуждены добавлять ему часть того, что он создал.

Закончил он свое выступление блестяще, обратившись, как он это часто делал, к сердцу.

— Мы все искренне убеждены, что справедливость лучше несправедливости, даже когда несправедливость приносит прибыль; щедрость сама себе оправдание.

Рабен презрительно усмехнулся, но, насколько мне помнится, он единствен-

ный усмехнулся тогда. «Цезарь» Мом-мзена произвел огромное впечатление на меня, когда я читал его мальчишкой, и, когда Лингг говорил, я вновь вспомнил Цезаря. Лингг говорил с необычной властью и выглядел благороднее Цезаря, но дух был тот же, который побудил Цезаря принять закон, позволяющий должникам платить три четверти долга и запрещающий кредиторам продавать своих должников.

Именно тогда я начал понимать, каким великим человеком был Луис Лингг. Какой бы ни ставили перед ним вопрос, если уж он брал слово, то говорил как настоящий знаток. После окончания дебатов Рабен подошел к нам и был весьма любезен. Особую учтивость он проявлял по отношению к Линггу; и тогда меня поразила его неверность, его фальшь, мне даже стало больно оттого, что Лингг вынужден принимать его похвалы, или делать вид, будто принимает их, в своей обычной вежливой манере. Когда мы после собрания вместе возвращались домой, Лингг вдруг спросил меня:

— Зачем вы приводите Рабена на наши собрания? Вы дружите?

Я сказал ему правду:

— Это Рабен в первый раз привел меня на ваше собрание. Он сказал, что вы близкие друзья.

— Мне всего один раз довелось видеть его, — проговорил Лингг, — до того собрания. Он приходил ко мне как журналист «The New York Herald». Я ответил на его вопросы, вот и все.

Я рассказал Линггу все, что знал о Рабене, и из-за дурацкого благодушия расписал его лучше, чем он был на самом деле, возвысил его, убрал темные пятна, о которых уже знал достаточно. Стоит мне вспомнить об этом, и я готов убить себя; если бы я тогда сказал Линггу чистую не приукрашенную правду о Рабене, все могло повернуться иначе. Но я был по-дурацки оптимистичен, сентиментален и хвалил предателя только потому, что он был немцем, по крайней мере, он говорил на немецком языке — как будто у гадюки есть национальность! Все время, пока я говорил, Лингг не сводил с меня глаз, изучал меня, читал мои мысли, уверен, читал правильно.

Когда мы добрались до дома, я, как всегда зашел к ним на полчаса поболтать, прежде чем идти к себе. И Лингг вновь заговорил о Рабене.

— Вы думаете, Рабен честный человек?

— Конечно, — воскликнул я, — ведь он же с нами!

— Вы обратили внимание, как он говорил сегодня? — спросил Лингг. (Я кивнул.) — Я имею в виду его стиль, американский или немецкий, который ему близок. Он постоянно повторяет два-три слова, прилагательных, которыми старается объяснить свою мысль. Например, первое слово «ужасный» — по-английски, а «schandlich — постыдный» — второе; он переводит немецкий эпитет на английский язык.

Я кивнул, не понимая, к чему он ведет.

Неожиданно Лингг достал листок бумаги.

— Я получил анонимное письмо. Не предлагаю вам читать его полностью, но обратите внимание на четыре строчки, здесь дважды употреблено «schandlich — постыдный» и дважды — «ужасный». В этом письме о вас сказано как о предателе, да и меня оно забрасывает грязью. Его автор слишком зол, чтобы достигать цели.

Пока Лингг говорил, он скатал записку в шарик, открыл дверцу печки и бросил шарик в огонь. Потом он выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза.

— Это письмо Рабена. Будьте с ним осторожны.

— Боже мой! — вскричал я. — О чем это вы? Неожиданно от его холодного спокойствия не осталось и следа . . .

— О том, — проговорил он, и в его голосе послышалась угроза, — что он завидует нам, всем нам, вам, мне, нашей вере в будущее, нашим добрым отношениям. Вы только взгляните в его узкое нездоровое лицо, бесцветные глаза и волосы; что-то есть ничтожное и навязчивое в его существе! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь еще.

Больше он ни словом не обмолвился о Рабене. Но я, вспомнив, что Рабен говорил мне о Лингге и Иде, залился краской стыда. Я был готов убить грязную змею; и жаль, что этого не сделал.

Ида не вмешивалась в наш разговор; однако ее тактичность, смягчив нашу боль и вернув нам доброе настроение, все же не позволила ей промолчать о том, что ей никогда не нравился Рабен, более того, всегда казался ей не только чужим, но даже скорее врагом.

— Можете быть уверены, отныне я буду осторожнее.

И на этом дело закончилось . . .

Политическая буря утихла ненадолго. Почти сразу после описанных событий, где-то в марте, началась забастовка рабочих консервного завода. Девять из десяти рабочих были немцами и шведами, зато командовали ими американцы. Мастера и десятники, почти все американцы, практически не приняли участия в забастовке.

Первый митинг забастовавших иностранных рабочих был разогнан полицейскими во главе с капитаном Шааком, очевидно, бравшим пример с Бонфилда. Эти забастовщики не были обычными рабочими; молодые и сильные, они умели обращаться с ножами и не собирались по-бараньи покорно подставляться под полицейские дубинки. Парсонс с небывалой страстью принял участие в забастовке, то же самое и Спайс. В своей газете Парсонс призвал американских рабочих плечом к плечу с их иностранными братьями противостоять тирании работодателей. В атмосфере борьбы час от часу росло напряжение, к тому же мятежное пламя раздували «The Alarm» и «Die Arbeiter Zeitung».

Прочитывая написанное, я обнаружил, что не сделал достаточного различия между Парсонсом и Спайсом, хотя в жизни они были совершенно не похожи друг на друга. Не очень начитанный Парсонс обладал талантом оратора, все было для него поводом продемонстрировать свое ораторское искусство, и пусть

он делал ошибки в своих заявлениях и даже в логических построениях, это перекрывалось искренним энтузиазмом. Он беззаветно верил в восьмичасовой рабочий день и минимальную заработную плату, а также другие скромные реформы, которые должны были уравнивать в правах иностранных и американских рабочих.

С другой стороны, Спайс был настоящий идеалистом. Намного более начитанный, чем Парсонс, да и более логичный в своих выводах, он был донельзя эмоционален и оптимистичен. Он искренне верил в возможность социалистического рая на земле, в котором не будет места жадности и стяжательству и в котором все люди будут в равной степени наделены мировым богатством. С его губ постоянно слетала фраза Бланки: «Всем по потребностям, от всех по способностям».

И Парсонс, и Спайс отличались бескорыстием, оба не щадили свои силы во славу рабочего дела. У Парсонса был более решительный характер, однако оба стали известными людьми, и это можно было предсказать с самого начала.

Митинг на пустоши в Паркстоуне собрал больше тысячи рабочих. Я отправился на него из любопытства. Должен заметить, что Лингг на подобные мероприятия всегда ходил один. Однажды Ида сказала мне, что он страшно мучился на них и поэтому не хотел никому показываться на глаза. Наверное, это было верным объяснением его одиноких вылазок. Первым взял слово англичанин Филден, и ему громко аплодировали. Рабочие знали Филдена как своего и любили, а кроме того, его незамысловатую речь было легко понять. Спайс произнес речь на немецком языке, и ему тоже аплодировали. Митинг проходил вполне дисциплинированно, как вдруг появились триста полицейских и попытались его разогнать. Хуже ничего нельзя было придумать, ведь митингующие никого не трогали и даже ни с кем не вступали в споры. Без предупреждения, ничего не объясняя, полицейские попытались проложить дорогу в толпе. Встретив пассивное сопротивление и не в силах одолеть его, они взялись за дубинки. Несколько молодчиков, горячие головы, вытащили ножи, но полицейские под предводительством сумасшедшего Шаака, опередив их, начали стрелять. Похоже, полицейские лишь ждали повода, чтобы открыть огонь. Трое рабочих были убиты на месте, более двадцати ранены, некоторые опасно, прежде чем площадь опустела. Окажись там настоящий вождь, произнеси он хоть слово, и от полицейских бы следа не осталось, но лидера не было, слово осталось произнесенным — и случилась беда, за которую никто не понес наказания.

Не знаю, как я в тот день добрался домой. Меня чуть с ума не свело зрелище трупов на снегу. Одного человека я, как ни старался, не мог забыть. Он был смертельно ранен в грудь; поднимаясь на левой руке, он грозил правой рукой полицейским и кричал в ярости, пока не захлебнулся кровью:

— Bestie! Bestie! (Звери! Звери!)

Я и теперь вижу, как он стирает кровь с губ; я подошел, чтобы помочь ему,

но он лишь бормотал: «Weib! Kinder! (Жена! Дети!)» Никогда мне не забыть отчаянного выражения на его лице. Я поддерживал его, вновь и вновь вытирал ему губы, потому что с каждым выдохом они опять были в крови, но говорить он уже не мог, вскоре закрыл глаза; «умер», как можно было бы сказать, видя его в луже крови; но я сказал «убит», когда положил несчастного на снег, «убит!»

Как я добрался домой, не знаю. Потом я все рассказал Энгелю, и мы несколько часов просидели со слезами на глазах, с переполненными яростью и ненавистью сердцами.

Вечером Энгель пошел со мной в клуб. Там уже знали о случившемся, тяжесть беды пригнула всех нас. Один за другим мы поднимались в залу и рассаживались, не произнося ни слова. Когда почти все были в сборе, появились Лингг и Ида. К моему удивлению, Лингг быстро двигался, говорил, как всегда, обычным тоном, просил у собравшихся внимания, спрашивал, кто будет выступать; очевидно, он еще не знал о стрельбе.

Все смотрели на меня; ясно было, что мое присутствие на площади не осталось незамеченным, поэтому я поднялся с места и прочитал отчет о митинге в чикагской вечерней газете. Это была пародия на случившееся. «Три-четыре человека были убиты, еще пятнадцать-шестнадцать серьезно ранены, когда вооруженные ножами оказали сопротивление полиции». Оказалось, что одного полицейского ранили в руку — полицейского, который оказался ближе всего к сопротивляющимся митингующим. К этому я добавил, что видел сам. Сопротивление было пассивным, никаких активных действий никто не предпринимал, пока полицейские не начали избивать людей дубинками, после этого я увидел пару человек с ножами, однако, прежде чем они пустили их в ход, полицейские застрелили нескольких невооруженных людей. «Это были иностранцы, — сказал я, — поэтому их застрелили. Нам, немцам, которые внесли свой труд в строительство этой страны, не разрешено жить здесь в мире. Эти люди были убиты», — сказал я и сел на свое место, дрожа от возмущения и ярости.

В тот день Рабена на собрании не было; собственно, после дурацкой попытки поспорить с Линггом о законах, он стал редко появляться в клубе. Кажется, один раз он зашел на пару минут. Когда я закончил говорить, поднялся Лингг и произнес потрясающую речь. Жаль, не могу воспроизвести ее слово в слово так, как слышал ее, мрачную и серьезную, сказанную для мрачных и серьезных людей, которые были доведены до крайности.

— Наш долг сопротивляться тирании, — были первые слова Лингга. — Покорность, к которой призывает Иисус Христос, я не могу принять. Возможно, я язычник, но я не верю в то, что надо подставить ударившему меня другую щеку. Мне помнится фраза Тома Пейна, который стоял во главе Американской революции; он сказал тогда, что англичанам не стать лучше, пока у себя на родине они не узнают, что такое война, пока чужеземный враг не прольет их кровь на родные камни. Вот и я не верю, что жестокосердные сильные люди

откажутся от тирании, пока не испугаются ее результатов.

По-моему, профессора Шваба сильно поколебали слова Лингга; все чувствовали в себе нечто судьбоносное, и до того сильным было это чувство, что профессор совсем растерялся. Он встал и произнес странную речь о том, что в демократическом обществе ничего не надо делать; это у тирании была голова гидры, но мы сбросили королей и установили власть народа, лучше уж никакой король, чем злой король, поэтому, мол, надо терпеть и учиться, после чего, замолчав, он сел на стул. Лингг не согласился с ним и опять взял слово:

— Никто не должен думать, будто государство может безнаказанно творить зло; *tout se paie* — любое зло должно быть отомщено; хотя похоже на то, что большое общество может совершать зло, которое приводит к смерти его малых членов . . .

— Истинный закон истории вырастает из индивидуальных случаев. Любое научное открытие, — продолжал он звенящим сильным голосом, — укрепляет отдельного человека. Прежде все были сами по себе, и одного угнетателя мог убить один угнетенный. — Казалось, все собравшиеся затрепетали в ожидании. — А теперь один человек держит в руке сотни жизней, когда-нибудь будет держать тысячи, целый город, и тогда им, тиранам, придется покончить со злом, или их сметут с лица земли.

Лингг заговорил громче обыкновенного, да и медленнее обыкновенного, и некоторые его слова я помню так, словно слышал их минуту назад. В его речи звучала необыкновенная страсть, всем своим видом он воплощал нешуточную угрозу, а в его напряженном взгляде пылал огонь. Слова этого человека были как дела и пугали как дела.

## Глава VI

Кажется, день или два дня спустя я получил очень удивившую меня, короткую записку от Иды Миллер, в которой она просила, чтобы я пришел как-нибудь утром, «если возможно, в среду; его не будет, а мне надо посоветоваться. Никому не говорите».

Что бы это значило? Я ничего не понимал. Зачем я понадобился Иде, и почему она хочет увидеться со мной в отсутствие Лингга? Напрасно я напрягал мозги. Тем временем заботы и волнения поглотили мое внимание, и я забыл о письме, правда, пометил в ежедневнике, что должен быть у Иды в среду днем.

По правде говоря, и более важные события могли бы вылететь у меня из головы, если учесть, что в городе быстро росло напряжение. Нам в самом деле казалось, что американцы сошли с ума — но, возможно, мы неправильно судили о людях, доверившись газетам. Все могут подтвердить, что газеты устроили безумную истерику; они день за днем, час за часом били по истерзанным чувствам своих читателей. Если не знать, что газеты резко увеличивают свои тиражи в сомнительные времена и во времена всеобщей растерянности, то как понять их обезьяньи кривляния? Когда они не бахвалились своими заслугами и не приписывали себе величайшие добродетели, то обрушивались на иностранцев и иностранных рабочих, словно те принадлежали к низшей расе. Журналисты придумывали сюжеты, прямо противоречившие правде, и в этом коренилась большая опасность. Иностранцев было примерно шесть к одному американцу, и они были разъединены принадлежностью к разным национальностям, религиям, изъяснялись на разных языках; однако если говорить о настоящем политическом мышлении в Чикаго, то оно принадлежало им. Интеллектуально они были выше американцев, среди которых жили. Мы наблюдали столкновение грубой силы и интеллекта, притеснителей с их настоящим временем и обездоленными людьми с их будущим временем. Силу иностранцам придавали интеллектуальная честность и проницательность, и поэтому с ними приходилось считаться. День за днем у них становилось все больше приверженцев среди американских рабочих; день за днем они становились сильнее и влиятельнее; и именно поэтому власти были вне себя.

Конец забастовке положил Спайс; в это время он сконцентрировал на себе всеобщее внимание — и случайно на Парсонсе. В «Arbeiter Zeitung» Спайс опубликовал на немецком языке статью, написанную немецким рабочим, и в этой статье были почти неправдоподобные сведения о грязи на консервных заводах. «Рабочие ходят чуть не по щиколотку в крови, — писал он, — а потом эту кровь собирают и используют в соусах». Вся статья состояла из таких фактов, однако она не произвела впечатления, пока Парсонс не отдал перевести ее на английский язык и не напечатал в «The Alarm». Перевод сделал я, но, кроме того, я проинтервьюировал еще пять-шесть рабочих и вставил их рассказы в

свой материал. Один из открытых мной фактов потом перепечатывался всеми как вершина кошмара. А внимание на него я обратил, когда приходил на консервные заводы в поисках информации. Свиной с перерезанными глотками помещали в ванну с очень горячей водой, чтобы легче отходила щетина. Тысячи свиной проходили за день через эту кипящую воду, которая уже к полудню воняла кровью и экскрементами, однако никто не обращал на это внимания; свиной падали в эту грязь и считались чисто вымытыми. Во всяком случае, больше их не мыли, и они шли в переработку на бекон, ветчину, ребрышки и так далее, их бросали еще дымящимися в соль — и отправляли в магазины. Воду меняли каждый день, но сама ванна чистилась только тогда, когда грязь на дне и сбоку становилась видна невооруженным глазом. До тех пор, хотя наносился вред продуктам и здоровью рабочих, никто и пальцем не шевелил. Ванны неделями стояли нечищенными на летней жаре, и никто не обращал внимания на кишасшую микробами грязь. «Скотобойня — не парфюмерный магазин», — говорил миллионер-заводчик, считая, что так может продолжаться вечно.

Американские газеты не могли позволить себе оставить это поле битвы за нами; они тоже послали своих репортеров на консервные заводы, и репортеры принесли им другие подробности, омерзительные подробности, невероятные, отвратительные, и вскоре в городе разгорелся скандал. Лучшие американские газеты потребовали, чтобы правительство заставило инспекторов выполнять свою работу и защищать права потребителей; однако для меня несомненно, что публикация материалов о безобразиях, творившихся на консервных заводах, как ничто другое способствовала быстрому завершению забастовки. Заводчики поняли, что им выгоднее пойти на уступки и выполнить требования рабочих, чем потерять покупателей из-за того, что вышли наружу безобразия на их производстве.

Все это стало предметом дискуссии в клубе, во время которой Лингг выступил за то, чтобы средневековые законы, исключавшие порчу продуктов питания и прочих вещей, были восстановлены. «В Америке слишком много индивидуальной свободы, — сказал он. — Профессор Шваб объяснил нам научные причины этого явления, однако свобода индивидуума должна быть ограничена, когда он подсовывает нам в хлебе соду вместо муки, грязь с пола вместо мяса. У нас есть сотня способов обуздать жестокую конкуренцию».

Все сошлись на том, что правительство должно установить минимальную заработную плату, восьмичасовой рабочий день, обеспечить право на труд; Лингг настаивал на том, что рабочему, не обеспеченному рабочим местом, муниципалитет или государство должны платить минимальную заработную плату, обеспечивающую, как он говорил, прожиточный минимум. Правительство, считал он, должно иметь как можно меньше контактов с работой индивидуума; оно должно служить на благо всему обществу — то есть строить дороги, проводить освещение и так далее. Я говорю об этом, единственно что-



бы показать внутреннюю скромность Линг-га и его мудрость в практических делах.

Как только забастовка закончилась, все как будто сразу же забыли о ней; никто не вспоминал о трех-четыре погибших, тем более о двадцати раненых иностранцах.

Утром в среду я пришел к Линггу. Дверь открыла Ида. У меня было прекрасное настроение. Несколько минут мы проболтали о всяких пустяках, но я видел, как Ида напряжена. Что бы она ни говорила, мыслями она была в другом месте, и наконец я спросил прямо:

— Ида, в чем дело? Зачем ты позвала меня? Она посмотрела на меня, ничего не отвечая, вид у нее был растерянный, она искала у меня сочувствия, наверное, хотела, чтобы я без слов все понял; но, как бы мне ни было ее жалко, я ничего не понимал. И еще раз попросил ее рассказать, что случилось.

— Наши беды всегда кажутся нам тем страшнее, чем меньше мы говорим о них. Стоит только довериться кому-нибудь, и станет легче. Скажи, что же все-таки случилось.

— Ничего определенного, — произнесла Ида. — У меня нет доказательств близкой опасности, но она рядом. Ты знаешь, что Луис был против брака, считал это изобретением священников как средства набить себе карманы, подобного их остальным священнодействиям. В тот вечер, когда ты рассказывал об охоте, мы пришли домой, и Луис сказал, что в сложившихся обстоятельствах он считает себя неправым и мы должны немедленно обвенчаться.

Она смотрела на меня умоляюще, у нее дрожали губы; я видел, как она возбуждена, и чуть было не улыбнулся. Ее страхи не показались мне серьезными.

— Это испугало меня, — продолжала Ида. — Он ведь не меняет своих мнений, ни под каким предлогом; а теперь подумал обо мне и решил немедленно обвенчаться. Ты понимаешь? Немедленно! Это потому что он знает, что ему еще недолго оставаться со мной. Ах, Рудольф, я до смерти боюсь, даже спать не могу.

И ее прелестное лицо жалобно сморщилось.

— О чем ты говоришь? — вскричал я. Но я уже понял, что она права. Естественно, я попытался развеселить Иду, попытался внушить ей, что ее страхи преувеличены, но у меня ничего не вышло, и потихоньку ее страхи перешли ко мне, придав форму и смысл моему собственному туманному ужасу.

«Скорее всего, — сказал я себе, — слова Лингга все равно что дела, имеют весомость поступка, потому что тесно связаны с ним, ведь он всегда нацелен на добро. Это все объяснило бы». — Как только я додумал эту мысль до конца, страх потряс меня, и когда мы с Идой вновь встретились взглядами, неведомый страх терзал нас обоих.

Вдруг, словно терпеть больше не было сил, или потрясенная моим сочувствием, Ида разразилась признаниями, подкрепляя каждое слово движениями белых рук:

— Ах, если бы ты знал, как я люблю его, как я счастлива, что он тоже любит меня. Сказать, что я принадлежу ему, ничего не сказать; я чувствую, как чувствует он, думаю, как думает он; я смотрю на все его глазами, он дал мне мужество жить или умереть вместе с ним, но не без него. Если бы ты знал, где я была, когда мы встретились. Ах, что это за человек! Я была обездоленной душой и мне было плевать, что станется со мной, а он подошел ко мне, и я посмела надеяться на его любовь. Он по-царски, не считаясь, одарил меня ею. Он добрый, сильный. . .

Ты же знаешь, мужчины и женщины чувствуют почти одинаково. Правда, мы, женщины, делаем вид, будто нас не привлекает никто, кроме мужчины, которого мы любим, но на самом деле это не так. Нас может на минуту увлечь милый, страстный, сильный мужчина, но когда мы встречаем того, кто по-настоящему мужествен, и наша нежная плоть чувствует его мощь, мы не можем сдерживать своих чувств. У женщины, как у мужчины, плоть неверна, мы лишь лучше контролируем ее. Но с тех пор, как я встретила Лингга, даже моя плоть верна ему. Я хочу лишь одного, чтобы он был со мной, и моя плоть верна ему так же, как моя душа. Он — моя душа, моя жизнь. Без него я умру. Я не буду. . . — Я так счастлива, что боюсь всего на свете. Я знаю, это нехорошо, ведь надо думать обо всех тех, кто страдает, пока мы наслаждаемся жизнью, но любовь так сладка, а мы так молоды, что могли бы еще немножко пожить для себя, как ты думаешь? Или я слишком эгоистична? — Она подняла на меня взгляд прекрасных, сияющих мокрых глаз. Никогда еще я не был так взволнован. Не мог же я сказать ей: «Ты преувеличиваешь». Я не мог произнести ни слова. Ида была такой искренней и такой уверенной, что я лишь смотрел на залитое слезами лицо и кивал головой. Временами жизнь невыносима — более трагическая, чем можно вообразить.

— Мы должны верить ему, — произнес я наконец. Мне было жаль Иду, и это подсказало мне слова, которые как будто утешили ее.

— Да, да, — воскликнула Ида, — ему известно, как женщина любит любовь, и он не будет жесток со мною; но он очень жесток с собою, — добавила она, и у нее дрожали губы, — что на самом деле одно и то же.

— Жизнь редко улыбается нам, — сказал я, потому что больше ничего не мог придумать, — это такая редкость повстречать настоящую любовь и испытать совершенное счастье.

И опять мне случайно удалось взять правильный тон. Ида кивнула, и ее взгляд просветлел.

— Мне бы хотелось хотя бы один день прожить так, как ты прожила несколько месяцев.

— С Элси? — улыбнулась она, но я не успел сказать «да», потому что в комнату вошел Лингг. Он пожал мне руку, не выказав ни малейшего удивления, смущения или недовольствия.

— Рад вас видеть, — только и сказал он, после чего направился к столу и

сложил на нем принесенные книги. — Это Ида позвала вас? — Он посмотрел прямо мне в глаза. — Я спросил, — продолжал он менее напористо, — потому что по случайному совпадению тоже хотел вас видеть сегодня. Хороший день. Я отлично поработал. Почему бы теперь не отдохнуть? Возьмем что-нибудь поесть на немецкий манер, колбасу, пиво, хлеб, картофельный салат, echt Deutsch, eh? (Настоящий немецкий, а?) И съедим все это на озере в лодке.

Он был как будто в прекрасном настроении, ничего дурного не держал на сердце. Глядя на него, я чувствовал, как от моих страхов не остается и следа, и с удовольствием, не задумываясь, принял его предложение. У меня тоже осталось за плечами много работы, и мне тоже хотелось отдыха, так что мы все вместе весело принялись складывать съестное в небольшую корзинку. Лингг позволил мне нести ее, хотя обычно делал это сам. Да и шел он как-то отдельно от нас, несмотря на то что всегда всегда занимал место между мной и Идой. Почему сейчас все это вспоминается так ясно, а тогда я не обратил на эти детали ни малейшего внимания?

Подойдя к озеру, мы наняли лодку, и лодочник хотел поехать с нами сам или послать своего мальчишку, но Лингг и слушать об этом не пожелал.

— Дайте нам самую безопасную из своих лодок, — сказал он, — самую широкую, самую устойчивую, положите в нее спасательные круги, потому что мы непривычны к воде и хотим получить удовольствие, не боясь никаких случайностей.

Американец посмеялся над нами, приняв нас за глупых датчан, и дал лодку, какую мы просили, широкую и устойчивую. Лингг отправил Иду на корму за руль, меня — на весла, и сам он тоже сел на весла, оставив между собой и мной незанятую банку. Сейчас я помню это ясно, но тогда оставил без внимания.

Когда мы отчалили от берега, я подумал, что Лингг хочет отплыть на полмили, может быть, на милю, а потом поесть, но он продолжал сосредоточенно грести. Наконец я не выдержал:

— Послушайте, Лингг, не пора ли нам перекусить? Когда вы планируете передышку?

Он улыбнулся.

— Когда не будет виден город, — сказал он и вновь взялся за весла. Так мы плыли часа два с половиной, углубившись в озеро миль на семь — восемь, прежде чем я вновь опустил весла.

— Послушайте, Лингг, вы не собираетесь пересекать озеро? Вы считаете это удовольствием — вкалывать тут, словно мы рабы, и не получать за это ни крошки хлеба?

Лингг перешел ко мне, и мы поели. Я пытался изображать веселье, но Лингг, как всегда, молчал, и Ида тоже молчала, не в силах справиться со страхом; ей не нравилась наша вылазка, да и устала она не меньше нашего. Когда мы покончили с едой и убрали мусор, я предложил плыть обратно, но Лингг сказал «нет», после чего поднялся на банку и стал смотреть в сторону Чикаго. Встав

обратно на дно лодки, он сказал:

— Никто не увидит, — и достал из кармана нечто вроде мальчишеской рогатки.

— Что это значит? — спросил я.

— Надо бы опробовать эту штуку, — ответил Лингг и вытащил из кармана штанов маленький ватный шарик, после чего принялся снимать с него вату, пока не показался другой шарик размером с грецкий орех.

— Что это? — со смехом спросил я и увидел страх на лице Иды. Полуоткрыв рот, она не сводила широко открытых глаз с Лингга, и все ее чувства выразились в этом взгляде. Лингг ответил:

— Это бомба. Маленькая бомба, которую я хочу испытать.

— Боже мой! — воскликнул я, пораженный до такой степени, что оказался не в состоянии думать и чувствовать.

— Мне нужна катапульта, — продолжал он, — чтобы бросить ее на какое-то расстояние от лодки, потому что, если я брошу рукой, то нам грозит возвращение вплавь. К тому же, катапульта увеличит расстояние в пару раз, так что нам будет отлично виден результат, и мы сможем судить о нем с предельной точностью.

Не думаю, чтобы я был трусливее других, однако слова Лингга привели меня в ужас. У меня перехватило дыхание, и руки стали холодными и мокрыми.

— Это серьезно, Лингг? — спросил я.

Непроницаемый взгляд остановился на мне, внимательно меня изучая, даже осуждая, и я взял себя в руки. У Луиса Лингга было ужасное свойство, он судил людей по тому, какими качествами они обладали, и любил их, обожал именно за эти качества. Дружить с ним значило постоянно быть в возбужденном состоянии. Ни за что я не позволил бы ему понять, до чего я испугался, скорее умер бы.

Я стараюсь честно изложить то, что происходило в моей душе, потому что в сравнении с Луисом считаю себя обыкновенным человеком, и если делал что-то, чего не делают, не могут делать обыкновенные люди, то лишь благодаря влиянию на меня Лингга. Когда я окончательно пришел в себя, и кровь горячей волной побежала у меня по жилам, я увидел, как потеплел его взгляд. Теперь он смотрел на меня одобрительно, так что я даже возгордился в душе.

— Так испробуем бомбу, — спросил Лингг, — или вы боитесь, что нам придется возвращаться вплавь?

— Я рассчитываю на вас, — якобы легкомысленно произнес я, — полагаю, вы знаете, чем собираетесь заниматься. Но когда вы сделали ее?

— Ну, работать над ней я начал с год назад, — ответил Лингг, — когда полицейские впервые применили дубинки, так с тех пор и работал.

Тут я вспомнил про книги по химии, и мне все стало ясно.

— Не надо было мне брать тебя с нами, — сказал он, поворачиваясь к Иде. — Ты выдержишь? — с нежностью спросил он.

Она посмотрела на него сияющими любящими глазами и закивала головой.

— Я знаю об этом уже давно, — произнесла Ида, — уже давно. Ты сделал ее два месяца назад в маленькой мастерской возле реки.

И эти странные люди улыбнулись друг другу. В следующее мгновение Лингг вложил пулю в катапульту, натянул тетиву и отпустил ее. Наши взгляды последовали за черной точкой. Едва она коснулась воды, как раздался взрыв, сильный взрыв, поднялся фонтан воды, и даже на расстоянии тридцати — сорока ярдов лодку стало раскачивать, и она едва не перевернулась. Несколько минут после взрыва я ничего не слышал. И даже испугался, не останусь ли глухим навсегда. Как такая маленькая штучка могла обладать такой силой? Первое, что я услышал, были слова Лингга:

— Если бы мы стояли, то упали бы в воду; мне даже пришлось держаться за край.

— Шум, наверняка, был слышен в городе?

— Нет, нет, — отозвался Лингг, — взрыв продолжался одно мгновение, вспышка тем более, так что там вряд ли что-то заметили. Самая сильная реакция вблизи, до берега ничего не докатилось.

— Это динамит? — спросил я немного погодя, когда глухота начала потихоньку отходить.

— Нет, — ответил Лингг, — более сильное вещество.

— Правда? — воскликнул я. — А я думал, сильнее динамита ничего нет.

— Есть. Динамит — это не что иное, как смесь нитроглицерина с кизельгуром<sup>1</sup>, и ее можно легко переносить с места на место; еще одна смесь нитроглицерина называется взрывчатым желатином, и она тоже сильнее динамита. Взрыв же небольшого количества гремучей ртути, заключенной в нитроглицерине, куда более эффективен, чем взрыв составляющих по отдельности. Есть еще более сильные взрывчатые вещества, чем нитроглицерин. Моя бомбочка, — продолжал он, будто рассуждая с самим собой, — дает взрыв в пятьдесят раз большей мощности, чем то же количество динамита.

— Боже милостивый! — не удержался я. — Из чего же она?

— Все современные взрывчатые вещества содержат много кислорода и какое-то количество азота. . . Нет, поговорим о чем-нибудь еще, — оборвал он себя. — Это слишком длинная история. . . — Луис, я хочу бросить первую бомбу, — вдруг сказала Ида.

Он покачал головой.

— Не женское это дело. К тому же, я надеюсь, что до бомб дело не дойдет.

Понятия не имею, что заставило меня заговорить, думаю, тщеславие или желание завоевать одобрение Луиса Линг-га, но я вдруг услышал собственный

<sup>1</sup> Кизельгур (диатомит) — природное ватообразное вещество. Именно эта стабильная (по сравнению с обычным нитроглицерином) смесь кизельгура с нитроглицерином под названием «кизельгур-динамит» была запатентована в 1867 году Альфредом Нобелем.

голос, произносивший:

— Позволь мне бросить первую бомбу.

Лингг поглядел на меня, и опять меня залило жаркой волной под его сочувственным взглядом.

— Это очень страшно, — сказал он. — Уверен, женщине такое не по силам. И тебе, Рудольф, тоже не по силам.

— А вам?

— Мне? — беззаботно переспросил он. — Думаю, я всегда знал, что рожден для чего-то в этом роде. В Библии есть один пассаж, который поразил меня, когда я впервые услышал его ребенком, и с тех пор я не могу его забыть. Не могу похвастаться хорошим знанием Библии, потому что мало обращал внимания на то, что приходилось читать. Ветхий Завет оставил меня равнодушным, а вот Евангелия тронули душу; но те слова я запомнил на всю жизнь. Не ручаюсь за точность: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей. . .»<sup>2</sup>

Мы, немцы, слишком много мечтаем, слишком много думаем; но еще немного — и пора действовать. Как мыслители мы далеко впереди остального человечества, теперь осталось лишь реализовать наши мысли и показать остальному человечеству, что в делах мы тоже впереди всех.

— У меня было ужасное детство. Когда-нибудь я расскажу тебе, — продолжал Лингг. — Сначала металл надо раскалить, а потом охладить в ледяной воде, чтобы получился настоящий клинок. Думаю, и мне были уготованы бесконечные боль и страдания — ради какой-то цели. — Последние слова он произнес медленнее обыкновенного. Несмотря на ясность сказанного, в его размышлениях было много мистического. Он видел во всем цель — его звезда и его судьба были неотделимы от мироздания. На мгновение он замолчал, словно потеряв нить, но вскоре заговорил, как всегда, продуманно и точно:

— Единственное, что привлекает меня в твоём предложении, а ты сделал мне великое предложение, — с улыбкой проговорил Лингг, — так это то, что мы можем десятикратно усилить результат. Я могу приберечь для тебя роль первого человека, взорвавшего бомбу, и оставить себе вторую роль. Понимаешь, одна бомба — это случайность, а две — тенденция, намерение, предполагающие третью, четвертую бомбы — вот будет кошмар! Я знаю жирных торговцев, они все попрячутся под кровать от страха. — Этот человек навел на меня ужас, но опять я услышал свой голос, выражающий согласие с его планами, почувствовал улыбку на губах, однако мои чувства были скованы, парализованы жуткой реальностью нашего разговора, или его нереальностью, как вам угодно. Во мне как будто умерли и душа, и разум; слишком уж непосильным оказался шок. Двигался я как во сне; когда же он сел на свою банку, я тоже, как во сне, взялся за весла и стал автоматически грести. Почти в полном молчании мы одолели обратный путь в Чикаго. . .

---

<sup>2</sup> Иоанн, 11: 50.

Короткий весенний день подошел к концу, солнце зашло за горизонт, прежде чем мы вернулись на берег; наступила ночь с ее темнотой, с ее милосердной всепоглощающей темнотой, которая укрыла нас, когда мы подплыли к пристани. Громкий резкий голос янки, бравшего с нас деньги, вернул меня к реальности. Однако у меня не было желания разговаривать. Я чувствовал себя опустошенным и, как во сне, следовал за Идой и Линггом. У дверей Лингг попрощался с Идой, чтобы проводить меня.

— Выкинь все из головы, — сказал он. — А то ты совсем не в себе. Может быть, все пойдет хорошо, и полицейские вспомнят о гуманности. Надеюсь. В любом случае, я не принимаю твое предложение всерьез. Не стоит говорить, что я доверяю тебе, однако не надо предлагать больше, чем можешь сделать.

Он по-доброму улыбался мне. С этого момента мы понимали друг друга до конца. Каким-то странным образом я почувствовал, что ему известны мои слабости не хуже, чем они известны мне, и он никогда не попросит меня сделать больше, чем я мог, отчего я переполнился благодарностью к нему. Однако в глубине души я чувствовал необычное возбуждение и понимал, что всегда буду предлагать ему больше, чем он попросит, больше, чем он будет ждать от меня.

## Глава VII

Описанные выше события не только отдалили меня от Элси, не позволили проводить с ней много времени, но и в определенной степени охладили мой пыл. Мы продолжали встречаться два-три раза в неделю, но мои мысли были заняты социальными проблемами, мной владели чувства, порожденные жестокой борьбой, которая не оставляла времени на другие мысли и чувства. Однако, как ни странно, в наших с Элси отношениях в это время наметился некий прогресс. Так как я отдалился и больше не был в ее безграничной власти, она стала добрее ко мне, менее требовательной, и как только я обратил на это внимание, капелька презрения появилась в моей любви. Неужели она действительно похожа на тех девушек, о которых я читал, которые убегают, когда вы преследуете их, и бегут за вами, едва вы поворачиваетесь к ним спиной? Но я-то не такой, думалось мне; я желал ее больше всего на свете. А потом мне показалось, что и она привлекает меня сильнее, когда становится требовательной и недоступной. Мне пришлось признать, что между нами нет разницы. Мужчина и женщина по своей природе не очень-то отличаются друг от друга.

То, что я был занят, само по себе возвеличило меня в глазах Элси и очень укрепило мое влияние на нее — и это как будто стало моим настоящим достижением за несколько недель. В последний раз, когда мы встретились, Элси зарделась от удовольствия, а когда прощались, она целовала меня и прижималась ко мне, словно хотела показать, как сильно меня любит. «Ты придешь завтра, правда?» — спросила она. А во мне разыграл черт противоречия, и я ответил с ничего не значащей вежливостью:

— Я найду за тобой в субботу, и мы погуляем — если, конечно, найдется время, — не удержался я.

— Буду ждать, — торопливо отозвалась Элси. Суббота выдалась солнечной и жаркой, насколько мне помнится, и мы, не раздумывая, направились к озеру по мягкому пахучему асфальту. В такой день волей-неволей избегаешь открытых улиц; солнечный свет не просто мешает, он слепит. И ничего удивительного, что Элси с раздражением проговорила:

— Ненавижу ходить пешком. В такие дни надо ездить на машине.

Я собирался предложить ей прогулку в парке, отдых на газоне, но стоило ей произнести эти слова, как я вспомнил лодку.

— У меня есть для тебя кое-что получше.

— Что? — с горящими глазами переспросила Элси.

— Узнаешь через четверть часа, — ответил я, и Элси, без умолку болтая обо всяких происшествиях последних двух недель, последовала за мной к пристани. Похоже, она была довольна жизнью, начальник отличил ее, похвалил ее работу, повысил ей жалованье. Помнится, я даже немножко приревновал ее,



совсем немножко, хотя и порадовался за нее, приятно ведь, когда получаешь заслуженное поощрение на работе. Неприятный осадок скоро исчез, до того Элси была соблазнительно красива, а ее нежность заставляла меня трепетать, наполняла радостью мою душу и изгоняла все мысли о соперничестве.

Через несколько минут мы уже были на пристани, и, прежде чем янки успел спросить, что мне угодно, Элси восхищенно воскликнула:

— Какой ты милый! Больше всего на свете люблю кататься на лодке по прохладной воде.

— Дайте нам широкую, устойчивую лодку, — попросил я, и янки подобрал нам нечто, напоминавшее корыто.

— Если хотите заплыть подальше, то грести будет трудновато, — заметил он, — хотя на воде не так жарко, как здесь. Зато эта лодка устойчива, как баржа.

У меня не было намерения заплывать так далеко, как это было с Линггом, но я взял предложенное «корыто» и, усадив Элси на корму, показал, как управляться с рулем, а сам греб без передышки около получаса, после чего устроился на дне лодки у ног моей возлюбленной. Она робко поглядывала на меня, взглядом признаваясь в любви и старательно отводя глаза в сторону.

— Не странно ли? — проговорила она. — Месяц назад я решила не встречаться с тобой, сказала об этом себе, сказала тебе. И когда я оставалась наедине с собой, я говорила себе: «Не стоит нам встречаться; это неправильно, и я больше не буду». Но это «неправильно» значило всего лишь «не хочу больше его видеть». А когда ты не пришел раз, другой, я до того сильно захотела тебя видеть, что теперь не думай, я ничего такого не скажу.

Естественно, после такого признания я обхватил руками ее бедра и заглянул ей в глаза. Она все еще избегала смотреть на меня. И я подумал, что поначалу лишь нравился Элси, полюбила она меня потом, и теперь любит меня не меньше, чем я ее.

— Милый, мы здесь одни, да? — продолжала она. — Больше одни, чем в комнате или где-нибудь еще. Только ты и я между небом и землей.

Я подтвердил это, и она вернулась к прежнему разговору.

— Мне не хотелось встречаться с тобой, потому что я не думала, будто всерьез люблю тебя, но была уверена, что ты меня любишь, а теперь получается, что я люблю тебя сильнее, и если прежде все мои доводы были против тебя, то теперь — за. Правда, странно?

И она на мгновение показала мне свои прекрасные глаза. Я приподнялся, и ее губы встретились с моими губами: ее нежность была восхитительной.

— Любовь порождает любовь, — сказал я, — как волна накатывает на волну.

— К тому же, — продолжала Элси, мгновенно поменяв настроение, — ты стал совсем другой, да будет тебе известно. Когда мы встретились, ты был, о, настоящий немец, очень смешно говорил по-английски, и привычки у тебя были немецкие. А теперь ты говоришь по-английски не хуже меня. Тогда ты казался мягким, сентиментальным, а теперь стал сильнее, решительнее . . .

— Ты ведь получил хорошее образование, правда? Лучшее, чем получают наши мальчики в колледжах. Тебе надо идти дальше, — взволнованно, даже со страстью проговорила Элси, но тут ею завладели другие мысли, и она надула губки.

— Тебе придется много работать еще лет десять-двенадцать, а на кого я буду похожа через десять лет? Я буду старой каргой! А если я сейчас выйду за тебя замуж, ты никогда по-настоящему не встанешь на ноги. Из-за меня ты всю жизнь будешь бедняком. Ох, я боюсь, боюсь!.. — Не надо, милый! Пожалуйста, не надо, а то я рассержусь! — воскликнула она, потому что я начал медленными короткими поцелуями покрывать ее руку, оставляя красные пятна, как лепестки роз, на безупречной белизне ее кожи, тем не менее в ответ на мой молящий взгляд Элси наклонилась и поцеловала меня так, как только она умела это делать.

Потом мы поболтали о том, о сем, строя разные планы, которые должны были соединить нас в будущем. Сначала я строил воздушные замки, потом Элси тоже стала строить воздушные замки, скорее, уютные домики, которые казались достижимее, чем мои замки, и уж точно более привлекательными. Теперь я с уверенностью говорил о постоянном месте в американской газете, так как Уилсон, редактор «Post», обещал мне такое место с жалованием, по меньшей мере, восемьдесят долларов в месяц, которых вполне хватило бы для нас всех, но Элси все равно качала своей расчетливой головкой, пока я не стащил ее на дно лодки в мои объятия. Довольно долго мы сидели, крепко прижавшись друг к другу и не разнимая губ, но потом Элси опять отодвинулась от меня.

— Мы не должны встречаться, — сказала Элси, — мы не должны вот так встречаться. Ты улыбаешься, плохой мальчик, потому что я всегда повторяю одно и то же, но на сей раз я не шучу. Когда я говорила это прежде, мы не любили друг друга, а теперь все изменилось. Ах, мне ли не знать... С каждым свиданием ты все сильнее хочешь меня, и чем сильнее ты хочешь, тем труднее мне отказывать тебе, отвергать тебя. С каждым разом меня все больше искушает желание подчиниться тебе, и я начинаю бояться себя. Если мы будем встречаться и целоваться, настанет день, когда я не выдержу. Такова человеческая природа, мой милый, женская природа, а потом я возненавижу себя и тебя тоже; наверное, тогда я покончу с собой. Отвратительно то, как я уступаю тебе, понемножку, из слабости, делаю то, чего не хочу делать. Это унижительно!

Все это время, пока она говорила, я целовал и ласкал ее. Видно, ко мне перешло немного от настойчивости Лингга. Слова суть завеса души, и мое терпение, мое настойчивое желание приблизили нас друг к другу лучше всяких слов. День за днем я становился все опытнее, а Элси уступчивее и почти готовой сдать.

Поэтому я продолжал целовать ее, пока она вдруг не вырвалась, не откинула

назад свою головку и не вдохнула полной грудью воздух.

— Нет, ты все же плохой мальчик! Зачем ты соблазняешь меня?

— Ты просто не любишь меня, — сказал я, требовательно заглядывая ей в глаза, — не надо говорить о том, что я тебя соблазняю, ведь ты не любишь меня, если не хочешь уступить еще чуть-чуть.

— Люблю сильнее, чем ты думаешь, милый, — сказала она и на мгновение прильнула ко мне. Но уже в следующую секунду поднялась с гордым видом, резко тряхнула юбками, так что муслин громко зашуршал, и опять уселась на корме.

Я отпустил ее. В конце концов, у меня не было права ничего требовать от нее, у меня не было права ее ласкать. Не было права! В любой момент Лингг мог призвать меня, и я бы не отказался. Все надежды на любовь и счастливую жизнь с Элси потонули в захлестнувшей меня черной волне страха. Нет, надо быть осторожнее, и я больше не посягал на Элси, хотя это дорого мне стоило. Я уже обратил внимание, что с каждой лаской, какой бы невинной она ни была, Элси все больше уступала мне. Однажды показав мне свои ручки, она уже не могла отказать мне в этом в следующий раз. Короче говоря, ей становилось все труднее отказывать мне в чем бы то ни было, ибо она тоже любила меня и желала изо всех сил. Несмотря на мое решение не заходить слишком далеко, чтобы ни в коем случае не скомпрометировать Элси, мы катились по наклонной плоскости, с каждым разом оказываясь все ниже и не имея сил повернуть назад. Не знаю, понимала ли Элси все это так же ясно, как я; теперь мне иногда кажется, что она даже лучше меня понимала, куда нас это может завести.

Однако в тот день, и мне приятно об этом думать, я решительно обуздал свою страсть и не уступил терзавшему меня желанию. Если бы Элси одарила меня своей нежностью за испытанные страдания, я бы не свернул с узкой и трудной тропы. Но она этого не сделала. По-видимому, она решила, что я обиделся, и надулась сама в ответ на мою неожиданную холодность. Устоять я не мог и добродушно поцеловал ее, возблагодарив провидение за то, что апрельское солнце не долгое и нам пора двигаться обратно.

По дороге домой Элси была мила со мной, и, целуя ее на прощание, я пообещал встречаться с ней по-прежнему и проводить с ней больше времени, чем мне удавалось прежде. Похоже было, что наши твердые решения подвергались тяжелому испытанию.

Когда я остался один и получил возможность рассуждать здраво, то постарался быть честным с самим собой. Бог свидетель, я не хотел стать причиной страданий любимой женщины; и все же с каждым следующим свиданием мы с Элси приближались к тому моменту, после которого возврата не будет, потому что исчезнет последняя завеса и случится неизбежное. Все мои неохотные старания сопротивляться течению, которое несло нас, говорили только о том, каким сильным, неодолимым это течение было. Наконец я решил и в субботу вечером написал Элси письмо, в котором отменил воскресное свидание под

тем предлогом, что мы «должны быть разумными». На другое утро, не успев я выйти из дома, как получил от Элси взволнованную записочку с просьбой зайти к ней в любое время. Если я очень занят, то могу прийти к ужину или даже после ужина, или позже, просто чтобы пожелать ей «спокойной ночи». Она, мол, будет счастлива, зная, что я приду, а иначе время будет тянуться медленно и ей будет очень одиноко. . .

Конечно, я не устоял и тотчас сообщил ей, что, как только разделаюсь со срочной работой, повезу ее с матерью покататься, и заодно мы где-нибудь пообедаем.

О матери Элси я вспомнил лишь как о возможном препятствии, как о щите между нами; но я склонен думать, что присутствие матери лишь подначивало Элси еще откровеннее продемонстрировать свою любовь ко мне, чем если бы мы были наедине. В тот день она была несказанно хороша — соблазнительная, своевольная, властная, как всегда, то привлекавшая меня, то отвергавшая. Эти контрасты, мгновенные перемены лишали меня воли.

Я повел Элси и ее мать в маленький немецкий ресторанчик, в котором был с Линггом, и зал сразу стал как будто светлее, едва Элси переступила его порог. Она перепробовала все немецкие кушанья, влюбилась, если хотите, в Sauerkraut, заявила, что лучше ничего быть не может, захотела узнать, как его готовят, получить рецепт, очаровала немецкого официанта так, что он покраснел как рак и чуть не поджег свои соломенные волосы.

После ленча мы отправились на прогулку, а отыскав достаточную тень, уселись под деревьями и стали болтать. Время от времени я не мог устоять перед искушением и не коснуться Элси, и тогда словно электрический ток пробегал по моему телу. Она тоже время от времени прикасалась ко мне, и то ли на второй, то ли на третий раз я понял, что это не случайно. Эта мысль опьянила меня.

Обратно мы ехали по берегу озера. Заходящее солнце раскрыло веер алых лучей в западной части неба, которые отражались в воде рдяным великолепием. Никогда мне не забыть той поездки. Наши колени покрывал плед, а так как я сидел напротив Элси, то наши ноги соприкоснулись и не отпускали друг дружку. Мирный угасающий день навевал покой и безмятежность. Это был счастливейший день в моей жизни, который и закончился хорошо.

Миссис Леман пригласила меня поужинать, и мы все вместе сели за стол. Потом Элси надела шляпку, и мы немного погуляли, затем я проводил ее домой; к этому времени на небе появились звездочки, и маленькая серебристая луна, едва народившаяся, светила над озером. Когда мы попрощались возле двери, Элси самым естественным образом обняла меня за шею, и наши губы соединились. Чувствуя, что она сдается, я поддался желанию и увлек ее в темный уголок. «Я люблю тебя, — шептал я, — моя желанная, я люблю тебя!» Рассудок изменил мне. «Мой единственный», — вздохнула Элси и, прекрасная, теплая, покорная, отдалась во власть моей страсти. . .

Однако место было неподходящее; через пару минут шаги послышались на лестнице, потом возле дома. Я успел лишь крепко прижать ее к себе и быстро поцеловать, прежде чем один из жильцов вышел из квартиры и обнаружил нас — пришлось ее отпустить. Элси, как ни в чем не бывало, вежливо и безразлично поздоровалась с ним. Я тоже постарался держать себя естественно, но сердце у меня колотилось, как бешеное, кровь кипела в жилах, и голос, когда я заговорил, звучал странно даже для меня самого. Однако то счастье незабываемо для меня, это самое сладкое из моих воспоминаний; и стоит мне подумать о том дне, жизнь во мне вновь просыпается и я чувствую ее, как никогда.

Лучшего дня не будет в моей жизни, говорил я себе по дороге домой, и, должен сказать, это оказалось правдой, но тогда еще неведомой мне. Лучший день в жизни! Я все еще вижу Элси, когда она открыла дверь — мятежное лицо, огромные глаза с загибающимися ресницами; слышу ее спокойный голос, которым она прогнала человека, посмевшего нам помешать . . . Боже мой! До чего же давно это было и до чего прекрасным кажется сейчас!

\* \* \*

Все, что происходило той весной, видится мне в радужном свете; не исключено, что этому способствовал и стоявший тогда потрясающе солнечный апрель. Погода усиливала иллюзию; в начале месяца шли проливные дожди, зато потом как будто наступило лето. Холодная ветреная зима миновала и была забыта, город радовался весне; началась пора вечеринок, поездок, и на время разговоры о социальной войне стихли, отовсюду слышался лишь смех малышей. Мое решение держаться подальше от Элси еще сильнее сблизило меня с Линггом и Идой. Кроме того, у меня становилось все больше и больше серьезной работы в «Post», так что я стал чаще нуждаться в советах Лингга. Правда, впрямую его мнение я использовал редко: оно не всегда было ясным и очевидным, но всегда заставляло меня задуматься. Он больше не пожимал недовольно плечами, а давал себе труд указать мне путь к новым идеям.

Тогда же я начал понимать его бесконечно добрую природу; несмотря на холодную манеру держаться, он был на редкость внимателен ко всякой человеческой слабости. Ида периодически страдала от невыносимой головной боли нервного происхождения, и тогда Лингг двигался по комнате по-кошачьи бесшумно, приносил ей одеколон, зашторивал окна и менял горячие подушки на прохладные — неумолимо, спокойно, заботливо. Когда же боль проходила, он придумывал какую-нибудь экскурсию; сорок миль на машине и целый день в лесу с обедом на ферме.

Одну такую поездку, выпавшую на ту весну, я запомнил. Избавившись от головной боли, Ида была в прекрасном настроении, и весь день мы с Линггом рвали весенние цветы, из которых она плела венки. Обедали мы в час дня на

ферме Ослеров, а около трех вернулись в лес, как в храм. Наш поезд отходил в семь часов, и герр Ослер обещал в шесть привезти нас на повозке вместе со своей рабочей командой обратно на ферму, чтобы мы напились чаю, прежде чем отправиться на вокзал. Поначалу, валяясь на траве, мы болтали о всякой чепухе и смеялись, прячась от по-летнему жаркого солнца. Однако по мере того, как солнце уходило и на землю опускалась прохлада, на нас снисходило более серьезное настроение.

Мне давно хотелось узнать, почему Лингг называл себя анархистом, что он имел в виду под этим термином, как он объяснял его; ну, и я принялся его расспрашивать на этот счет. У него как раз случилось разговорчивое настроение, и, как ни странно, в тот день он выказал небывалый энтузиазм, противоречивший его натуре и никогда не проявлявшийся в обществе обычных знакомых.

— Анархия — это идеал, — начал он, — и как всякий идеал имеет множество практических недостатков, но все же у него есть свои привлекательные качества. Мы хотим сами командовать собой, нам не надо командовать другими, но и другие пусть нами не командуют. Это первое. Начинаем с того, что ни один человек не может судить другого. Разве есть нелепее действие, даже на нашей смешной земле, чем судья, произносящий приговор своему собрату! Чтобы судить человека, надо не только хорошо его знать, но и любить его, видеть его не своими, а его глазами. А ваши судьи ничего не знают о подсудимом, они невежественны и вооружены лишь формулой вместо человеческой симпатии. Отсюда чудовищное, убивающее душу наказание тюрьмой — плохой едой, принудительным ничегонеделаньем, одиночным заключением — вместо возрождающего сочувствия. . .

Представьте, что люди страдают неизлечимыми нравственными болезнями. Если такие есть, то их немного, но ведь такие люди наверняка есть — за что же их наказывать? Если они неизлечимо больны физически, скажем, слоновой болезнью, то их помещают в специализированные клиники; дают им отличную еду, веселые книжки, они занимаются физическими упражнениями; о них заботятся очаровательные сестрички и знающие свое дело доктора. Почему же нравственно больным людям не создать такие же условия, как подобным им душевнобольным? Со времен прихода на землю Иисуса Христа с его милосердием мы кое-как научились видеть в преступных увечных людях своего рода козлов отпущения, которые носят в себе все грехи людские; вот и в Библии сказано, что их бьют за грехи наши, и их бичеванием мы излечимся. . .

Давайте снесем с лица земли больницы и тюрьмы и заменим их камерами смерти, как предлагают наши псевдоученые; или будем обращаться с нашими моральными уродами, как мы обращаемся с инвалидами или идиотами. Как только человечество поймет, в чем его интерес, оно избавится от тюрем и судей, потому что они больший яд для души, чем любое преступление. . .

— Вижу, у тебя на языке вертится тысяча вопросов, — продолжал он, смеясь, — но постарайся сам ответить на них, дорогой Рудольф, и тогда ты поработа-

ешь на пользу себе, но только не задавай их мне. Все мы должны сами строить свое царство, Царство Человека на Земле. Один предпочтет волшебную страну, другой — романтический замок с башнями и бойницами, который поставит посреди луга с нарциссами и ландышами; я бы предпочел современный город с лабораториями на каждом углу, а также с театрами, художественными студиями и танцевальными залами вместо распивочных заведений; но иногда мне хочется видеть дома, похожие на шатры, как в Японии, которые можно разобрать, перенести на другое место и собрать в одну ночь, потому что не надо мне неизменного города, потому что любовь к переменам — к переменам места, пейзажа — у меня в крови. Но почему бы нам не иметь и то и другое? Пусть будут постоянный работающий город и переменчивые шатры радости . . .

— Две великолепные идеи властвовали в те времена, которые мы по глупости называем темными: это идея чистилища, которая в тысячу раз больше подходит человечеству, чем идея ада или рая. И еще идея службы. Подумай-ка, представитель благородного сословия отправляет своего сына пажом в дом знаменитого рыцаря, чтобы мальчик научился там мужеству, учтивости, заботе о других, особенно о слабых и бедных. В такой службе не было ничего лакейского, зато была благородная почтительность — это анархическое представление о добровольной и неоплаченной служб. . . — оборвал себя Лингг на полуслове, от души смеясь над выражением моего лица.

Никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы он так давал себе волю, Лингг даже с небывалым восторгом процитировал стихи — нечто пародийное, прочитанное им в газете и обращенное на некоторых чикагских миллионеров:

Они крадут леса, луга, Оленьи пастбища в придачу, И незабудок милая краса  
Не принесет любовникам удачу.

По-мальчишески весело посмеявшись, Лингг вновь посерьезнел.

— Настоящий прогресс, — проговорил он, — рождается благодаря одаренному индивидууму, но, с моей точки зрения, нужно некоторое количество социализма для более основательной свободы человека, и вместе с более открытым индивидуализмом я вижу в мечтах государственную индустриальную армию, в форме, дисциплинированную, используемую на постройке дорог и мостов, общественных зданий, ратушей, разбивке общественных парков, и еще много чего на благо людей; а набираться эта армия должна из безработных. Если офицеры будут приличные, поверь мне, через год-два, служба в этой армии даже при очень низком жаловании станет очень почетной, как теперь почетна служба в настоящей армии. Не забывай, что наши мечты, прекрасные мечты, когда-нибудь воплотятся в жизнь; мечты сегодняшнего дня — это реальность дня завтрашнего . . .

— В человеке есть три проявления святости, — сказал Лингг, словно ни к кому не обращаясь, — это красота детей, физическая красота и грация юности, которую мы прячем и которой протитуируем, но которую должны открывать,

которой должны восхищаться, скажем, в танцах или в играх, потому что сама по себе красота облагораживает. И еще талант взрослых мужчин и женщин, который в большинстве случаев растрачивается зря в жалких конфликтах с посредственностью, но который надо искать и использовать как редчайший и ценнейший из даров. Отсюда миллионы измученных и изношенных — а ведь каждый был со святой искрой и правом на людскую жалость. Не нужен нам спаситель из богов, — воскликнул он, — нам нужен человек, который стал бы спасителем Бога, святости. . . — и опять он неожиданно замолчал, улыбаясь всевидящими глазами.

Никогда у меня не было более интересного собеседника, а вскоре мне пришлось узнать, что никогда я не встречался с более великим человеком действия. Тот день оказался последним счастливым днем, проведенным нами вместе. Примерно через час явился фермер, и Ида улыбалась, когда мы все трое, рука об руку, в венках из полевых цветов, шли в направлении повозки.

Мое решение не встречаться с Элси, не искушать ее больше, продержалось недели две-три, после чего с ним было покончено, причем решительнее, чем прежде. Я пригласил Элси пообедать со мной, и она надела платье с низким вырезом. День был теплым, вечер — близким и душным. Мы обедали в отдельном кабинете немецкого ресторана, а потом сидели рядышком, точнее, Элси сидела у меня на коленях, и я обнимал и целовал ее прекрасные обнаженные плечи, прохладные и благоуханные, как цветы.

Не знаю, что со мной случилось. Весь день я работал, написал две хорошие статьи, заработал немного лишних денег и сообразил, как заработать еще. Я был возбужден, счастлив и поэтому, верно, немного легкомыслен и немного более требователен, чем обычно. От успеха легко потерять голову, поэтому я обнимал Элси, целовал ее, ласкал с жадностью, не поддающейся описанию. Уже от первого поцелуя я весь напрягся, и когда она остановила меня, то пришел в бешенство; но она все равно отодвинулась, потом встала и постояла пару минут, после чего повернулась ко мне.

— Ты не представляешь, как мучаешь и испытываешь меня, — воскликнула она и помолчала какое-то время. — Хотелось бы мне быть красивой!

— Что ты говоришь? Ты ведь очень красивая и знаешь это.

— О нет, я не красивая. Хорошенькая — да, даже очень хорошенькая, если хочешь, пока молодая, но красивая, необычная — этого нет. Во-первых, я не вышла ростом, — задумчиво продолжала она, — рост у меня средний (на два дюйма меньше стандарта, подумал я с улыбкой, потому что отпор, полученный от Элси, пробудил во мне нечто вроде неприязни к противоположному полу), я ничем не выделяюсь, обыкновенная девушка. Элси повернулась ко мне и заговорила со страстью:

— Будь я красавицей, я бы не отвергла тебя. Да, ни за что не отвергла бы, потому что тогда мне ничего не было бы страшно, а так, извини, я боюсь. Понимаешь, если что-то случится, мне не выбиться в жизни, и я разобью маме



сердце. Поэтому, пожалуйста, милый, не надо меня соблазнять! — и она с мольбой посмотрела на меня.

Я обнял ее почти грубо, несмотря на ее откровенное предостережение, и вновь принялся целовать и ласкать — с жадностью голодного человека. На мгновение она как будто поддалась мне, но потом опять отпрянула от меня. Когда же я спросил, что с ней, она торопливо, словно не доверяя себе, ответила:

— Мне пора, мне пора.

— О нет, нет! — воскликнул я. — Неважно, любишь ты меня или нет, только не уходи. Еще слишком рано. Иначе я целый вечер буду ругать себя.

— Мне пора, — повторила Эlsi.

— Чем ты рискуешь? — нахмурился я. — Ведь ты всегда можешь уйти, когда захочешь.

— Ох! — отозвалась Эlsi, — до чего же ты слепой и недобрый!.. Мне всего этого хочется не меньше, чем тебе, правда. Зачем ты заставляешь меня признаваться в таких постыдных вещах? Но это правда. Я вся дрожу сейчас. Вот, посмотри. Ах! — и она прильнула ко мне, вновь скользнула в мои объятия и обвила руками мне шею. — Только не делай мне больно, милый, — сказала она и прижалась губами к моим губам.

Тогда я почти взял ее. Если бы не последняя просьба, я бы не удержался. Но тут я вдруг почувствовал, что стою на краю пропасти, и у меня все похолодело внутри. Нет, я не имею права. Нет, я мужчина и должен контролировать себя. Я обнял ее покрепче и, когда она откинула назад голову, поцеловал ее в шею.

— Моя любимая! Я не сделаю тебе больно. Мы всегда будем заботиться о том, чтобы не делать друг другу больно, правда? Так будет всегда.

Легко вздохнув, она вновь нашла мои губы. С тех пор, как мне кажется, ее сопротивление было окончательно сломлено, и я мог взять ее в любой момент, но не посмел. Мое уважительное отношение к ней, мое восхищение ее красотой, ее откровенностью, ее соблазнительным очарованием — все это вновь и вновь помогало мне обуздывать себя. Я не поддался слабости, и тем менее хотел поддаться ей, когда между нами не было никаких барьеров. После этого дня, когда она поняла, что я намерен сдерживать себя, она больше не пыталась сдерживать меня сама, отдаваясь во власть моей страсти. Я мог делать с ней, что хотел, и эта вседозволенность, эта власть над любимой сдерживала меня сильнее, чем что бы то ни было еще. Я боролся с собой, и с каждой победой Эlsi становилась все нежнее, отчего следующий поединок с собой был труднее и легче одновременно. Я сам запутался в тугом клубке своих чувств, не мог объяснить, как ее нежность восторжествовала над моей страстью, которая никуда не делась, выжидала своего часа и пыталась взять верх. Однако с того вечера я крепко держал ее в узде, хотя она вилась, как змея, в моем теле и чуть не победила меня.

## Глава VIII

А теперь, подобно тем, кто сеет ветер, мы в конце концов подошли к тому, чтобы пожать свою бурю. На мгновение ураган стих; чтобы, так сказать, набрать в легкие воздуха для последнего отчаянного броска. Однако все время находились такие, которые предвещали крещендо в нашем ужасном деле. Мы же, обитавшие в центре бури, этого не говорили — наверное, потому что у нас было много куда более важных вещей, которые надо было обдумать и совершить. Представьте себе: на одной стороне нетерпимые жадные американцы, довольные своим обществом, в котором правят два закона — укради-если-можешь и конкуренция, на другой — иностранные рабочие с идеями справедливости, права, честности в головах и с пустыми животами. Эти нищие иностранцы трудились сверх меры, но недополучали денег; им не компенсировали травмы во время рабочего дня; их увольняли в первую очередь, они редко работали на одном месте больше недели, особенно жестокими были увольнения накануне зимы, чтобы честный работодатель мог избавиться от худших рабочих, а лучшим снизить заработную плату до минимального уровня. На стороне американцев были власти, суд, полиция, вся параферналия так называемого правосудия с вооруженной милицией на подхвате, а в случае надобности и армией Соединенных Штатов Америки. Церковь, профсоюзы, интеллектуалы были на стороне грабителей. С другой стороны, ничем не вооруженные иностранные рабочие, разъединенные принадлежностью к разным национальностям, не понимающие друг друга, не имеющие лидера, общей идеи, выработанной политики. Если сила всегда права, то у них не было шанса; но все же правота становится сильнее, даже во враждебном мире — от этого не отмахнешься. И каким же должен был стать результат?

Один случай пролил свет, словно огненной вспышкой, высветил весь смрад нашей жизни. В то время в центре района, где в основном жили иностранные рабочие, находилась лавка, где продавали лекарства и бакалею. В лавке имелся телефон, по которому быстрые американские репортеры сообщались со своими газетами. У иностранных рабочих были основания подозревать, что по этому же телефону не раз и не два вызывали полицейских. Естественно, к журналистам они относились с ненавистью и подозрением: не были ли они пособниками капиталистической прессы? Однажды вечером несколько польских и богемских рабочих объединились и под предводительством еврея, знавшего оба языка, отправились в лавку, с изрядным шумом ворвались в нее и сломали телефон. За ними последовали другие, которые, восхищенные смелостью первых, принялись громить и крушить все, что попадалось под руку, распивая одновременно вино и виски. К счастью или к несчастью, у бакалейщика были два галлоновых кувшина колхицинового вина. Их нашли, откупорили, мгновенно опустошили, и десять несчастных поплатились за это своей жизнью.

Природа щедра и обильна. Я вспомнил этот эпизод, чтобы показать: рабочие тоже не всегда были правы; но, правы или не правы, они платили по счетам, которые были слишком велики. Забавно, что Парсонс из «The Alarm» именно в это время проявил себя во всей красе. После разграбления магазина журналистов встречали недружелюбно. Постоянно на людей с блокнотами нападали забастовщики или проходившие мимо рабочие. Иногда Парсонсу удавалось вмешаться и спасти несчастных. Как я уже писал, Парсонс по своей натуре и воспитанию был умеренным реформатором и не годился ни в мятежники, ни в революционеры. У него был дар оратора, но не мыслителя.

Зима была долгой и холодной. Неделями термометр показывал от десяти до сорока градусов ниже нуля, к тому же Чикаго открыт всем ветрам. К северу замерзали Великие озера, ураганы сдували все на своем пути, здесь бывали торнадо пугающей силы, и снежные бури терзали улицы ледяными зубами. Укрыться зимой негде. Тем не менее забастовки были чуть ли не каждую неделю. На той или другой фирме пытались сократить штаты, избавиться от рабочих похуже, и это вызывало жестокий отпор в виде локаутов или забастовок, но тут же сбегались полицейские с дубинками, налетали на безоружных и голодных людей. Однако полицейских не хватало для этой дополнительной работы, ими плохо руководили, и они тоже уставали до изнеможения. Взрыв был неизбежен.

Закончилась зима, началась весна. Спайс и Парсонс возобновили агитацию за восьмичасовой рабочий день и принялись организовывать массовую демонстрацию на первое мая. Это раздражало американцев и вдохновляло иностранцев. Как раз в это время судьба распорядилась так, что «маленькие» забастовки переросли в большую забастовку. В западной части города располагался знаменитый завод Маккормика по производству сельскохозяйственных орудий труда. Поблизости, но немного восточнее жили немцы, поляки, богемцы. Девять из десяти рабочих Маккормика были иностранцы, занятые самым простым трудом, для которого не требовалось специальных знаний. Управляющие Маккормика тотчас попытались заменить забастовщиков, однако подоспело лето с его обновленными требованиями, и начались бунт за бунтом. Забастовщики пикетировали улицы, старались помешать вновь нанятым рабочим пройти на завод, иногда, как говорят, использовали силу. Немедленно вызывали полицейских, и уж те никого не щадили. Жестоко избивали мужчин, женщин, даже детей. Яростные митинги проходили каждый вечер на всех углах. Вновь и вновь безукоризненно организованные и никому не мешающие собрания разгонялись полицейскими дубинками. Хранители закона и порядка при каждом удобном случае использовали силу, даже когда это было совершенно не нужно; и иностранные рабочие кипели от негодования.

День первого мая подходил к концу. С самого утра полицейские гонялись за митингующими, разгоняли их, старательно демонстрируя свою власть. Американские газеты до того громко кричали об опасных намерениях забастовщиков,

что, когда первое мая закончилось без революционных эксцессов, девять из десяти американцев готовы были признать свою ошибку, признать, что в этом не лучшую роль сыграли газеты, и это было чистой правдой. Все надеялись, что возбуждение уляжется, что злость постепенно сойдет на нет и вновь восстановятся покой и порядок. Однако, несмотря на временное затишье, дело быстро шло к ужасной развязке.

Рядом с заводом Маккормика было огромное поле, и на этом поле каждый день собирались толпы бастующих. Кажется, второго мая «Arbeiter Zeitung» призвала на следующий день, то есть третьего мая, устроить митинг на этом поле. Там проходила железнодорожная ветка и стоял пустой вагон. С крыши этого вагона Спайс открыл митинг, сказав пламенную зажигательную речь. Слушать его собралось не меньше двух-трех тысяч народу. Как только он умолк, толпа, вооруженная палками и камнями, приготовилась к встрече с рабочими, нанятыми на опустевшие места, с так называемыми штрейкбрехерами. Эти люди прятались в башне главного здания; так что напрасно бастующие искали их и били окна камнями. Посреди мятежа приехала полдюжина полицейских машин. Их тоже встретили камнями, в первую очередь, женщины. Полицейские, не долго думая, достали револьверы и принялись палить в толпу. Большинство разбежалось. Но не все. Несколько десятков человек остались на месте. Одних избили, других застрелили. Человек сорок — пятьдесят были ранены, семь — восемь убиты из полицейских револьверов.

Это жуткое событие пробудило худшие страсти с обеих сторон. Американские газеты подняли на щит полицейских, аплодировали их действиям и требовали от них впредь так же стоять на страже закона, спокойствия и порядка. С другой стороны, те из нас, которые сочувствовали забастовщикам, обвиняли полицейских в чудовищном и беспричинном убийстве.

Лидеры забастовщиков призвали провести митинги вечером следующего дня, то есть четвертого мая, чтобы разоблачить полицейских, которые пошли на убийство безоружных людей. Главный митинг организовали Спайс и Парсонс на Деспленс-стрит, грязной улице, которой предстояло прославиться навечно.

Я был с забастовщиками, когда они напали на завод Маккормика. Лингг пришел позже, но именно он стоял против полицейских, когда они стреляли. После того, как все закончилось, я помог ему унести раненую женщину. Это была совсем девочка лет восемнадцати — девятнадцати, и пуля попала ей в грудь. Увидев, как Лингг поднимает ее, я бросился ему на помощь. Бедняжка попыталась поблагодарить нас. Очевидно было, что она умирала; она и вправду умерла, едва мы добрались до больницы. Никогда я не видел Лингга таким: он выглядел внешне спокойным, говорил еще медленнее обыкновенного — вот только глаза у него горели, и, когда врач отпустил ее запястье со словами: «Она умерла», — я подумал, что Лингг сейчас бросится на него. К счастью, мне удалось его увести, и мы вновь оказались на улице. Однако я

должен был расстаться с ним, потому что спешил домой: надо было написать очередную статью. Оказалось, что даже Энгель участвовал в митинге, и домой он вернулся сам не свой. Бедный, добрый, нежный Энгель был совершенно не в себе из-за жестокости полицейских.

— Они стреляют в женщин! — кричал он. — Звери!

Я лишь стискивал зубы. Закончив статью, я пошел к Линггу. Жил он довольно далеко от меня, в паре миль, и прогулка по-летнему прекрасным вечером несколько успокоила мои нервы. По пути я купил вечернюю газету и обнаружил в ней откровенное искажение фактов, бесстыдное вранье от начала до конца.

Когда я постучал в дверь Лингга, то не знал, чего мне ждать; но стоило мне войти, и я ощутил что-то новое в атмосфере его дома. На столе стояла лампа под зеленым абажуром. Лингг сидел рядом, наполовину на свету, наполовину в тени. Ида сидела в полной темноте. Когда она открыла мне дверь, я увидел, что она плачет. Лингг ничего не сказал, когда я вошел в комнату, да и мне поначалу нечего было ему сказать. Наконец я выдавил из себя:

— Лингг, что вы думаете об этом? Правда, ужасно? На мгновение он обернулся ко мне.

— Теперь все разойдутся в разные стороны.

— О чем вы?

— Или полицейские будут делать, что им заблагорассудится, или мы будем воевать. Подчинение или восстание.

— Что вы намерены делать?

— Восставать, — тотчас ответил он.

— Тогда и я тоже, — воскликнул я, потому что в это мгновение во мне вспыхнула ненависть.

— Сначала подумай.

— О чем думать? Я только и делал, что думал, думал. Лингг обратил на меня внимательный добрый взгляд.

— Хорошо бы нам добраться до хозяев, — проговорил Лингг, как бы разговаривая с самим собой. — Глупо бороться с руками, словно мозги ни при чем. Однако полицейская жестокость более очевидна, а у нас нет времени выбирать.

— Ненавижу полицейских, — с горячностью воскликнул я. — Звери!

— Как насчет завтрашнего митинга? — спросил Лингг. — Они обязательно попытаются разогнать его. . . Я имею в виду митинг на Хеймаркет.

Как раз тогда я впервые услышал о Хеймаркет от Лингга. Зная те места лучше него, я стал объяснять, что митинг будет в ста ярдах от Хеймаркет, на Десплейнс-стрит. Он кивнул. И все же это он произнес название, которое в будущем будет дано месту трагедии.

Потом мы обсудили вопрос денег. Лингг решил, что я должен исчезнуть и спрятаться в Европе, поэтому обрадовался, узнав, что у меня есть почти тысяча долларов. Эти деньги я откладывал на свадьбу. Лингг обещал зайти за

мною на другое утро. Я не должен ничего решать, не должен думать о том, что мне предстоит сделать; если долго думать об одном и том же, можно совсем обессилеть, так он сказал, демонстрируя уникальный самоконтроль.

Со смехом он заговорил о себе.

— Когда настанет мой черед и меня схватят, то припишут мне невесть что. Будут говорить, что я мятежник и анархист, потому что родился внебрачным ребенком. Но это неправда. У меня была лучшая в мире мама. И меня вполне устраивало мое рождение. Естественно, я презирал негодяя, который соблазнил и бросил мою мать, но такие животные не редкость среди немецкой аристократии. Нет, горечь поселилась в моем сердце, когда я стал понимать условия жизни рабочих. И все же мне всегда довольно легко жилось, — добавил он.

В тот вечер он почти все время говорил как-то отстраненно. Но несколько фраз мне запомнились навсегда.

— Писатель старается подобрать нужное слово; художник — материал, который позволит ему выразить себя. Мне же всегда требовался особый поступок, что-то такое, чего больше никто не делал и не мог сделать. Надо быть сильным, чтобы подчинять свои поступки одной цели, к тому же они не такие послушные, как слова, и не такие покорные, как бронза. . .

На удивление ясно он предвидел, что произойдет в ближайшем будущем, и в первый раз заговорил об этом страстно, так что его слова до сих пор горят в моей памяти, словно выжженные огнем. — Если бросить бомбу, полицейские арестуют сотни людей, будет осуждено больше десятка невинных людей. Я хочу быть в суде, в суде этого воровского общества, и когда продажный судья вынесет приговор, то встану и скажу: «Вы вынесли приговор себе, будьте вы прокляты!» — и собственными руками приведу свой собственный приговор в исполнение.

— Не могу больше терпеть, — говорил он с напором, которого мне не передать, — это проклятое ханжеское общество, в котором жадные воры правят бал, в котором лучших судят и наказывают те, кто крадет, грабит, убивает. . .

— Кроме того, — продолжал он, — в душе я рад такому концу. Мне никогда не нравилась перспектива умереть в своей постели, всю жизнь простоять на сцене жизни, болтая и размахивая руками, чтобы меня вдруг за волосы стащили вниз и, так сказать, бросили в кучу пыли. Клянусь Богом, — проговорил он, и его глубокий страстный голос проник мне в душу, — я собственными руками опущу занавес и выключу свет, когда сам этого пожелаю. Я буду себе судьей и палачом. В этом что-то есть — умереть, как мужчина, а не как овца. . .

Что еще было говорить? От Лингга я набирался мужества. А когда вышел из его дома, то как будто летел по воздуху, гордый своей отчаянной решимостью. Я тоже собственными руками опущу занавес и выключу свет. Столь поразительным было влияние Лингга, столь силен он был своей добродетелью, столь страстен в выражении ее, что я, не помню как, одолел расстояние до своего

дома, ни на секунду не усомнившись ни в его словах, ни в своем решении, а так как Энгеля не было, то отправился прямо в свою комнату и, как сурок, проспал до утра.

Правда, на другой день я проснулся, обуреваемый страхом, словно кто-то сжимал мне сердце, мешая ему биться. Тем не менее вскоре я пришел в себя, вспомнил о Лингге и вернул себе нормальное состояние, после чего встал и оделся. Около восьми часов, когда мы с Энгелем завтракали, пришел Лингг. Глаза у него горели. Мы немного поболтали и вместе отправились в банк за деньгами. Потом мы, как решил Лингг, в трех разных местах обменяли бумажки на золото, и Лингг повел меня обедать. Ида была с нами.

Она показалась мне на редкость бледной и тихой. Мы обедали втроем, больше никого не было, и, так или иначе это относительное уединение или отчасти навязанное мне общество Лингга и Иды, которые обменивались односложными фразами, начало меня угнетать. В конце обеда я сказал:

— Знаете, Лингг, мне бы хотелось побыть одному. Я иду домой.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Не думай, что ты зашел слишком далеко и не можешь повернуть назад, — тихо произнес он. — Если считаешь, что не готов, то прямо скажи об этом. Знаешь, Рудольф, у тебя впереди счастливая жизнь, ты милый, хороший парень, и я не хочу тянуть тебя за собой в могилу.

— Нет, нет! — воскликнул я, вновь загораясь огнем от решимости Лингга. — Я с вами. Но сначала мне надо немножко побыть одному. Я должен подумать и сделать последние распоряжения, вот и все.

— Понятно, — отозвался Лингг. — Хочешь, чтобы я зашел к тебе сегодня вечером, или отменим нашу встречу?

— Приходите в восемь, — сказал я и протянул ему руку. Он взял мою руку в обе ладони, и я, не раздумывая, подался к нему, после чего мы поцеловались. Это случилось в первый раз. Мы поцеловались как товарищи и влюбленные. Когда я вышел из ресторана, то чувствовал себя посвященным в великое дело, и голова у меня кружилась от восторга. Домой я вернулся, полный твердой решимости идти до конца. Сначала я занялся вещами, отложил лучший костюм, пару фланелевых рубашек, предметы первой необходимости, потом улегся на кровать, чтобы привести в порядок мысли. Однако решимость Лингга все еще не отпускала мои чувства.

— Значит, вот итог твоих амбиций, — сказал я себе, — предел всех твоих надежд и страхов, конец твоей жизни?

— Да, — твердо ответило мое внутреннее «я», — в этом смысл борьбы, и мое участие в ней очевидно. Я знаю, от чего страдают слабые, знаю, как мучаются бедные, знаю, какие силы им противостоят, и все же я за слабых, за справедливость и равноправие до конца. . . и дальше.

Я был возбужден, как никогда, и не чувствовал ни страха, ни сомнений.

Посидев какое-то время в одиночестве, я вдруг услышал шум внизу в мага-

зине, потом шаги на лестнице и робкий стук в мою дверь.

— Войдите, — сказал я и не поверил своим глазам, когда увидел Элси. Наверное, я бы меньше удивился, если бы вошел губернатор штата.

— Элси, — воскликнул я, — что случилось?

— Ты не отвечаешь на мои письма, — ответила Элси, — ты не пришел вчера повидаться со мной, хотя это наш день, поэтому, сэр, я отправилась на поиски. Ты на меня сердишься?

— Нет. Правда, — пробормотал я и подал ей стул. — Ты не разденешься?

— Я останусь ненадолго, если позволишь, хотя это не в моих правилах и вообще нехорошо, но мне нужно поговорить с тобой.

Элси подошла к зеркалу, сняла шляпку, поправила волосы, потом взялась за жакет. Только после этого она вернулась к начатому разговору, который, как вы сейчас поймете, был довольно забавным.

Большинство мужчин считает, или предполагается, что считает женщин коварными, хитрыми, лживыми, возможно, слабоумными существами, которые предпочитают кривые тропинки и скорее, хитря, готовы потерять, чем честно выиграть. Что касается меня, то близко я знал лишь одну женщину, которая была предельно честна, искренна и, как ребенок, послушна каждому движению своей души, более того, имея одну главную страсть, отдавалась ей с невероятным самоотречением. Так пароход подчиняется малейшему движению руля.

Элси подвинула стул, села рядом со мной и сказала:

— Не знаю, с чего начать, милый, но мне необходимо высказаться. Не слишком ли часто ты видишься с Идой Миллер? (Ее вопрос застал меня врасплох, и я не смог скрыть удивления, отчего Элси как будто спохватилась.) О, я не хочу сказать, что ты влюблен в нее, но она имеет на тебя большое влияние, это так? — спросила Элси и, прищурившись, внимательно посмотрела на меня.

Я лишь покачал головой и повторил:

— Влюблен в Иду. Откуда ты взяла это? Она же никого не замечает, кроме Лингга, да и я никогда не думал о ней иначе, как дружески. Похоже, твоя маленькая головка тебя подвела, — сказал я и со смехом хлопнул ее ласково по лбу. — Нет, нет, я в своем уме, — нетерпеливо проговорила Элси. — Но если это не Ида, то кто же?

— Это Элси, — совершенно серьезно ответил я.

— Не смейся надо мной, — попросила она, и на щеках у нее появились ямочки. — Тогда почему ты переменялся? Меня это злит. Как только я стала тебе послушна, ты как будто отдалился и день ото дня становишься все холоднее и холоднее. Я с ума схожу, когда думаю, что не нужна тебе.

Бедняжка! Я обнял ее.

— Элси, Элси! — воскликнул я. — Конечно же, ты нужна мне и желанна, как всегда, даже больше, чем всегда — во много раз больше. Я не могу коснуться тебя, чтобы меня не обожгло, как огнем. И если я стараюсь сдерживаться, то



лишь ради тебя, дорогая.

Она смотрела на меня сквозь слезы, и я читал вопрос в ее глазах.

— Как же так, милый? Прежде ты не сдерживал себя, ничто не могло тебя остановить!

— Ты стала мне дороже, намного дороже! — воскликнул я. — Ты потрясающе откровенна. Я и поначалу любил тебя, а теперь восхищаюсь тобой и ценю тебя больше кого бы то ни было. Ты такая замечательная девушка. С твоей помощью я узнал женщин и в твою честь почитаю их всех.

— У кого ты научился подобным комплиментам? — спросила Элси, улыбаясь и склоняя голову набок.

— У Элси. Меня научила моя любовь к ней. Все дороги ведут в Рим, все слова ведут к одному слову — Элси.

Я поцеловал ее и вновь посадил на стул.

— Вот видишь! — воскликнула Элси. — Прежде ты мог часами держать меня в объятиях, тебе не надоедало целовать и ласкать меня, а теперь ты чуть что — и отстраняешь меня! — Глаза Элси наполнились слезами.

— Потому что я из плоти и крови и не хочу поддаваться страсти, которая лишает меня разума.

— Представь, что я не против, — произнесла Элси, опустив голову. — Ты говоришь, что теперь ты другой. Представь же, что я тоже перевернулась. А что, если ты попросишь меня стать твоей женой, и я скажу «да», а не «нет»? Что тогда?

Она вновь подняла на меня ясный взгляд, и я обратил внимание, как полыхают горячим румянцем ее щеки.

Я хватался за любую соломинку. Мне было ясно, что поднажми она еще, и я признаюсь ей в изменении моих планов на жизнь, и она, возможно, даже поймет меня.

— Если мы собираемся пожениться, тогда другое дело, но надо быть последним дураком, чтобы не подождать еще немного, разве не так?

Элси долго вглядывалась в меня, а потом покачала головой, словно я не убедил ее и не развеял ее подозрений.

— Думаю, ты прав, но ведь это не так уж важно, правда? Пришлось с ней согласиться.

— Нет, любимая, — сказал я, обнял ее и стал целовать в губы, чувствуя, как она всем телом прижимается ко мне, настойчиво требуя ласк.

Не знаю, как мне удалось сдержаться и отодвинуться от Элси, но я сделал это, хотя на несколько минут потерял всякую способность соображать. Как во сне, я слышал, мол, она еще больше ценит меня за мою сдержанность, мол, ее мужем будет мужчина, достаточно сильный, чтобы не поддаться обстоятельствам, если он считает это неправильным. И она еще долго расхваливала меня, пока я не закрыл ей рот поцелуем. — Ох, — спустя некоторое время произнесла Элси, заглядывая мне в глаза, — во всяком случае ты научил меня любви, милый, и

мне бы хотелось, чтобы твоя любовь была такой же беспредельной, как моя, чтобы ты забыл обо всех сомнениях и соображениях. Я хочу отдаться тебе, милый, мой милый, сейчас. . .

Она держала мою голову своими тоненькими пальчиками и храбро смотрела на меня большими сияющими глазами.

— Вы, мужчины, думаете, будто женщины не любопытные и не страстные. Наверно, моя страсть другая, милый, но, думаю, она сильнее. Поддаться ей значит для нас больше, чем для вас, поэтому мы осторожнее, рассудительнее, но не намного, если подумать. . .

Вы соблазните нас страстью, удовольствием, а мы сопротивляемся, но когда вы соблазните нас нежностью, самопожертвованием, просите нас сделать это для вас, мы тотчас таем. Мы, женщины, любим дарить удовольствие тем, кого любим. Недаром, милый, мы приходим на этот свет с грудями. Попросите нас о наслаждении, и мы откажем, попросите о радости — и мы тотчас сдадимся. . .

Поэтому мужчинам должно быть стыдно соблазнять нас, — продолжала она. — Но, конечно же, к тебе это не имеет никакого отношения; ты ведь женишься на мне, я знаю. Это другое. И все же у женщины более благородная роль. Вы просите для себя, а мы отдаемся ради вас. Куда радостнее давать, чем брать. А ты, милый, не хочешь принять мой дар, и я не понимаю, гордиться мне или злиться на тебя. Вот мы, женщины, какие глупые!

Элси никогда не переставала удивлять меня. Она была на редкость проницательной и все понимала. О любви, по крайней мере, она знала больше любого мужчины. Я даже усомнился, не зря ли таюсь от нее. На минуту мне показалось, что я не прав, что должен обо всем ей рассказать; нет, слишком поздно, слишком поздно. Я чувствовал, что она будет всеми своими силами, всем сердцем против меня, против Лингга. А в тот последний день мне не хотелось с ней воевать, я не мог себе этого позволить, кроме того, моя тайна принадлежала не только мне. У меня оставалась единственная надежда на то, что несмотря ни на что я смогу остаться на поверхности, не утонуть в любви и не выложить все свои секреты, и для этого я перевел разговор на свадьбу.

— Элси, где мы будем жить? Твоя мама не побоится за тебя? Да и ты совершенно уверена, что никогда не пожалеешь?

— Не думаю, чтобы женщина когда-нибудь жалела о том, что она делает во имя любви. Во всяком случае, уверена, она ни о чем не жалеет, пока любит. Только когда его любовь умирает, она начинает о чем-то сожалеть.

— А я немного побаиваюсь, что мое отношение к забастовкам повредит мне в американских газетах. Уже кое-что есть. Уилсон говорит, что находит идеи социализма даже в моих отчетах о пожарах, а ведь я всего лишь придерживаюсь фактов.

— Ненавижу твой старый социализм! — воскликнула Элси. — И вонючие собрания тоже! Зачем тебе думать о бедных? Они для тебя ничего не делают, и даже если бы они узнали, как ты заботишься о них, тебе не дожидаться благодар-

ности. Да и нет в них ничего хорошего. Зачем тебе портить свое будущее ради людей, которые не имеют к тебе никакого отношения? Я покачал головой.

— Элси, не все и не всегда делается в ожидании благодарности, просто мы должны. . .

— Ты говоришь глупости. Наверно, это Лингг так влияет на тебя? Но он же сумасшедший. Это видно по его горящим глазам. Когда он смотрит на меня, я коченею. Он пугает меня, и в этом нет ничего приятного. Он пугает меня до полусмерти. Ох, хорошо бы ты дал ему с Идой идти их дорогой и больше не виделся с ними. Уверена, тебе было бы от этого только лучше, и ты относился бы ко всему добрее. Я знаю, потому что люблю тебя. Ну же! Обещай — ради меня!

Она опустила на колени и прильнула к моим ногам, после чего подняла руки и притянула к себе мою голову. Вот уж искусительница, так искусительница — с таким-то лицом! Я не удержался, обнял и поднял ее, крепко прижимая к себе. Боже мой! Неужели этого больше не будет? Но уже в следующий момент мною завладела другая мысль, страшная мысль о том, что я обещал сделать.

Рассердившись, я отодвинул Элси от себя и встал. В тот же миг она стояла против меня.

— В чем дело? — резко спросила Элси. — Я знаю, ты что-то скрываешь от меня. Что? Скажи мне, скажи немедленно.

Все та же властность была в ее тоне. Любовь может смягчить, но ей не дано по-настоящему изменить человека. Я сел на диван и покачал головой.

— Ничего, дорогая, просто я ужасно люблю тебя и не должен поддаваться соблазну.

— Глупенький, — сказала она, подходя ближе, усаживаясь рядом со мной на диван и обнимая меня за шею. — Глупенький. Ты можешь делать, что хочешь, и тебе никто не помешает.

Она легла и, когда я повернулся к ней, сказала: «Сначала я поцелую тебя птичьими поцелуями». (Еще в самом начале я назвал ее поцелуи птичьими поцелуями, потому что она целовала меня в точности, как птичка клюет яблоко.) Теперь она знала толк в поцелуях, и ее губы прижались к моим губам.

Что мне было делать? Меня разрывало на части. Стоило ей прикоснуться ко мне, и я терял голову: губы горели огнем от страстного желания, я дрожал весь с головы до ног, и все же я понимал, что не должен дать себе волю. Это было бы подло.

«В конце концов, почему бы и нет? — спрашивал я себя. — Почему бы и нет? Почему бы и нет?» Сердце у меня билось, как бешеное, и я был не в состоянии соображать.

Я обнимал ее, и она улыбалась мне чудесной улыбкой страстного самоотречения. Я коснулся ее плеч и ощутил теплую кожу, а она обвила руками мою шею и притянула к себе мою голову. Она трепетала под моими прикосновениями, не отнимая своих губ от моих, и я вдруг ощутил, что сломлен любовью и

восхищением. Я не мог принять ее жертвы, не мог рисковать жизнью этого удивительного ребенка и обрекать мою Элси на страдания. Я не мог. Но я буду целовать и ласкать ее, пока хватит сил. . .

Наконец я почувствовал, что сил больше нет.

— Ох, Элси, — простонал я, — помоги же мне, помоги. Это нечестно, а я должен быть честным с тобой.

Она немедленно поднялась и одернула юбки гордым движением, которое я слишком хорошо знал.

— Как хочешь, — сказала она. — Но все же я не понимаю тебя, и у меня ноет от страха сердце. Скажи мне все, милый. — И она заглянула мне в глаза. — Нечего говорить, любимая.

Элси высокомерно покачала головой.

— Клянусь, Элси, что я сдерживаюсь только ради тебя. Ты должна мне верить, родная! Ты должна!

— Я постараюсь, — ответила она. — До свидания, милый.

— Ты уходишь? — воскликнул я, в отчаянии простирая к ней руки. — Боже мой! Боже мой! Я не отпущу тебя! — И сердце перевернулось у меня в груди.

Неужели я больше никогда ее не увижу? Не увижу это ангельское личико? Никогда не обниму ее, никогда не услышу ее голос? Слезы брызнули у меня из глаз.

— Вот сейчас, — воскликнула Элси, обнимая меня, — ты в первый раз с тех пор, как я пришла, стал самим собой. Твое лицо, твои слезы убедили меня в том, что ты все еще меня любишь, и я счастлива, по-настоящему счастлива.

— Как ты могла сомневаться? Она покачала головой.

— Ах, милый, теперь я верю тебе, но почему же ты изменился — почему? Не понимаю. Должно же быть что-то.

— Когда-нибудь ты все поймешь, любимая, — отозвался я, стараясь улыбнуться. — Ты поймешь, что я всем сердцем люблю тебя, что никогда даже не смотрел на другую женщину, что никогда не любил другую.

Мы опять, не вытирая слез, бросились друг к другу в объятия.

— Я пойду, — сказала Элси, все еще плача, — пойду сейчас же. До свидания, милый.

Возле двери она повернулась, стремительно подбежала ко мне, взяла мои руки, поцеловала их и положила на свои упругие маленькие груди.

— Я люблю тебя, милый, люблю всем сердцем!

И она ушла. А я бросился в кресло, не в силах больше держать себя в руках. Волна горечи захлестнула меня. Мне стало на все наплевать, без Элси все теряло смысл. Боль была слишком сильной. Я не смел думать о ней, о моей потерянной любви. . .

Но я понимал, что не должен расклеиваться; я должен быть мужчиной, должен собрать все силы и. . . Но как? Существовал лишь один способ, который действовал безотказно. Надо было призвать образ раненого мужчины, у кото-

рого на губах выступала кровь, когда он произносил имена жены и детей. Я напомнил себе о несчастной девушке, которую мы отвезли в больницу, о том, как ее прелестное лицо становилось все бледнее и бледнее. Вспомнил о мужчине, ослепленном взрывом, и о его жалкой походке; о страшном существе, отравленном фосфором и гордившемся этим, о великани-шведе, дергавшемся, как раненый червяк; слезы у меня на глазах мгновенно высохли от возмущения и ярости: я был готов к борьбе. Одним глубоким вздохом я очистил горло от всего, что осталось после Элси и мешало мне дышать, и повернулся лицом к реальности. Когда же я встал с кресла, чувствуя, как горячая кровь бежит по моим жилам, то услышал бой часов, было ровно восемь, и почти тотчас с улицы донесся стук быстрых твердых шагов — шагов Лингга. Я быстро перевел дух. Слава богу! Я готов!

## Глава IX

Когда Лингг вошел в комнату и мы обменялись рукопожатием, он заглянул мне в глаза твердым взглядом, и я обрадовался, нет, был в восторге оттого, что готов к встрече с ним. Безмерно волнуясь, я в первый раз почувствовал, что могу быть с ним на равных. У смерти есть эта странная власть над людьми, и, когда собираешься под ее сень, ощущаешь себя равным всему живому.

— Вижу, — спокойно произнес Лингг, — ты принял решение. А я надеялся, ты переменишься.

— Вещи собраны, и я готов, — заметил я как равный равному. Лингг прошел мимо меня к окну и постоял, глядя в него, пару минут. Я встал рядом, и, когда он повернулся ко мне, наши взгляды встретились.

— Рудольф, я часто думаю, — проговорил он, кладя руку мне на плечо, — получится что-нибудь из нашего мира или не получится. . . В конце концов, почему человек должен обязательно обнаружить то лучшее, что есть в нем? Наверняка, в других мирах было множество неудач, так почему же наш шарик из грязи должен быть иным? — И тотчас Лингг повернул в другом направлении. — А почему бы и нет? Он всегда молод, наш старый мир, и в нем всегда есть молодежь; всегда есть попытки что-то изменить! Почему бы нам не победить? В любом случае, надо пытаться — обязательно надо пытаться!

Глаза у него зажглись, и я улыбнулся. Его искренняя доброта по отношению ко мне, его дружба, пусть даже исполненная сомнений, придали моей решимости высший смысл.

— Бомба у тебя?

— У меня, — сказал Лингг и достал ее из правого кармана. Он всегда носил короткие куртки, обычно двубортные, и с большими карманами. Бомба оказалась не больше апельсина, но раз в десять больше того шарика, который он испробовал на озере, и я понял, что в ней заложена огромная сила. С «апельсина» свисал кусочек чего-то, напоминавший ленту.

— А это что?

— У нашей бомбы двойное действие. Если потянуть за ленту, то бомба внутри загорится и взорвется ровно через двадцать секунд, так что можно потянуть за «ленту», потом подождать от пяти до десяти секунд и тогда уж бросать ее. Однако она взорвется, если соприкоснется с чем-нибудь, так что надо быть осторожным.

— Из чего она? — спросил я, беря бомбу в руки. Она была на удивление тяжелой.

— Снаружи свинец. С ним легко работать. А внутри мое открытие — причем случайное.

— Положу ее в карман брюк. Так лучше всего. Не ударится ни обо что, будет спокойно лежать, пока я не решу, что пора дергать за «ленту». Снаружи она не

загорится?

Лингг покачал головой.

— Увидишь искру, когда бросишь ее, но одежда не загорится, если ты об этом.

Меня охватило лихорадочное нетерпение. Я жаждал поскорее сделать дело и покончить с этим.

— Почему бы нам прямо сейчас не пойти на митинг? Лингг был спокоен, как всегда, и говорил в точности так же неторопливо, как в любое другое время.

— Если хочешь. До Хеймаркет примерно миля. Митинг назначен на девять часов. Начнется он не раньше, чем в восемь — десять минут десятого, и даже если полицейские разгонят его, то сделают это не раньше половины десятого или без пятнадцати десять. У нас полно времени. . . . Прежде чем мы пойдём, я хочу, Рудольф, чтобы ты обещал мне одну вещь. Я хочу, чтобы ты потом исчез. Это часть нашего плана. Чтобы людей охватил ужас, первый человек, который бросит бомбу, должен сохранить свою свободу. Ничто так не способствует распространению ужаса, как успех и повторный террористический акт. Обещай мне, что бы ни случилось, ты скроешься и не дашь себя поймать.

— Обещаю, — торопливо ответил я. — Но ведь это я брошу бомбу? — спросил я, торопливо облизав пересохшие губы и мечтая об отсрочке.

— Если, даст бог, полицейские не вмешаются, то и мы ничего делать не будем; но если они набросятся на людей, если опять начнут махать дубинками, то придется и нам действовать. Постарайся не забыть, взорвав свою бомбу, опуститься на четвереньки, удар будет очень сильным.

— Ну, мы идем? — спросил я и обернулся, чтобы взять саквояж, но Лингг не дал его мне. Потом вдруг поставил его обратно и, сжав мне плечо, внимательно и по-доброму поглядел на меня.

— Рудольф, пока еще есть время отказаться, повернуть назад. Мне трудно думать о том, что ты тоже будешь замешан. Оставь это мне. Поверь, так будет лучше.

Меня все еще будоражила мысль о нашем равенстве, и я воскликнул:

— Нет, нет, ты ошибаешься во мне. Я очень хочу участвовать; все раненые и убитые призывают ко мне. Не будем больше тратить время на разговоры. Я решил. И уже всеми мыслями на Хеймаркет.

Лингг откинул назад голову, взял саквояж, и мы вышли из комнаты. Когда мы проходили через магазин, мальчишка сказал нам, что Энгель уже полчасика как отправился на митинг, и мы зашагали на Хеймаркет. Я был до того взволнован, до того возбужден, что не заметил, как солнечный день сменился предгрозовым вечером, пока Лингг не обратил мое внимание на тучи.

Не прошло и минуты, как мне показалось, а мы были уже на Хеймаркет, то есть на Десплейнс-стрит, что между Лейк-стрит и Рэндольф-стрит. Десплейнс-стрит — довольно оживленная улица в западной части города, примерно в трехстах-четырёхстах ярдах от реки и больше чем в миле от деловой части.

Хеймаркет, как потом назвали это место, на самом деле, примерно в ста ярдах в сторону. Так как мы шли из южной части, то миновали полицейский участок, где командовал инспектор Бонфилд. Там, возле дверей, собралось уже много полицейских.

— Значит, сегодня свершится, — сказал Лингг. — Так тому и быть.

Приблизившись к митингующей толпе, мы обратили внимание на присутствие мэра и нескольких чиновников. Мэр был пожилой человек — Картер Харрисон. Его просили запретить митинг, но ему не очень хотелось препятствовать проведению законного собрания, вот он и явился сам, чтобы предотвратить превращение мирного митинга в мятеж.

Ораторы говорили с обычного фургона, поставленного в том месте, где тупик пересекался с улицей. Мы пристроились в конце здания, которое занимал большой завод грузоподъемников братьев Крейнов. Собралось не меньше двух — трех тысяч человек.

Когда мы пришли, Спайс как раз заканчивал свою речь. За ним последовал Парсонс, который подготовил свое выступление по всем правилам. Начал он с того, что попросил людей сохранять порядок, рассказывая о своих бедах, уверив их, что тогда и американский народ будет внимать им с симпатией, постепенно поняв, что они ведут честную игру. Он и вправду верил в эту чушь. Дальше он сказал, что положение иностранных рабочих в самом деле ужасно, ведь были убиты безоружные мужчины, женщины, дети. Почему они были убиты? — спросил он и перешел к своим реформистским тезисам.

Мэр слушал и, по всей видимости, не находил в речах ничего криминального. «Речь Парсонса, — сказал он потом, — отличная политическая речь». После Парсонса слово взял бородатый англичанин Сэмюел Филден. Упали первые капли дождя, поднялся ветер, начало быстро темнеть. Стало ясно, что бури не миновать.

С краю толпа начала рассеиваться. Я был один и на удивление наблюдателен в тот раз. От меня не укрылось, как мэр с чиновниками двинулся в сторону деловой части города. На несколько минут мне показалось, что все должно закончиться мирно, но от этого не стало легче. Я слышал, как бьется у меня в груди сердце, и неожиданно почувствовал что-то в воздухе: он был напоен ожиданием. Тогда я медленно повернул голову, а так как стоял с краю, то увидел Бонфилда, ведущего за собой полицейских и, по-видимому, собиравшегося по-своему поговорить с митингующими после ухода мэра. У меня сразу затвердели мышцы от ненависти.

С каждым мгновением темнело все больше. Неожиданно яркая вспышка ослепила меня, потом как будто прогремел гром. Пока еще было светло, я видел полицейских, орудующих дубинками, видел, как они бьют людей, бегущих по тротуару. И тотчас решение было принято. Левую руку я положил сверху на бомбу, чтобы придержать ее, а правую сунул в карман и дернул за «ленту». Послышался скребущий звук, и я стал медленно считать: «Раз, два, три, четыре,



пять, шесть, семь». К этому времени полицейские были уже совсем рядом. Они избивали всех подряд, двое или трое держали в руках револьверы. Люди разбежались кто куда. Тут раздался выстрел, потом дюжина выстрелов, причем стреляли, как мне показалось, только полицейские. Гнев застил мне глаза.

Я вынул из кармана бомбу, совершенно не думая о том, видят меня или нет, и стал присматриваться, куда ее бросить. Потом бросил ее высоко в воздух, чтобы она упала в самую гущу полицейских. Меня швырнуло вперед, я упал, едва появилась вспышка. Мне показалось, что я лежал целую вечность, прижатый к земле. В ушах шумело так, что чуть не лопались барабанные перепонки. Передо мной лежали люди, пытавшиеся приподняться на руках. Отовсюду доносились стоны, плач, крики. Я оглянулся. И как раз, когда я оглянулся, кто-то поддержал меня сильной рукой, и я услышал голос Лингга:

— Пойдем, Рудольф, сюда.

Он потащил меня прочь, и мы прошли мимо того места, где прежде были полицейские.

— Не смотри, — вдруг прошептал он, — не смотри.

Но еще прежде, чем он это сказал, я посмотрел, и то, что я увидел, до конца моих дней будет стоять у меня перед глазами. Улица представляла собой настоящую бойню, посреди чернела яма, а вокруг нее, повсюду, лежали люди или то, что от них осталось. Рядом с тем местом, где шел я, валялась оторванная нога, а чуть дальше лежали два больших куска окровавленного красного мяса, соединенные бедренной костью. Мне стало плохо, мужество оставило меня, но Лингг с нечеловеческой силой удерживал меня на ногах, да еще и тащил за собой.

— Рудольф, стой крепче, — шептал он. — Давай, парень, шагай, еще, еще.

Как только опасное место осталось позади, я повис на Лингге, дрожа как осиновый лист. И только тут почувствовал, что весь с головы до ног мокрый, словно искупался в холодной воде.

— Постой, Лингг. Я не могу идти.

— Ерунда. Вот выпей.

Он сунул мне в руку фляжку с бренди. Не знаю, сколько я выпил, но сердце вновь забилося у меня в груди, горло отпустило, и я опять более или менее нормально задышал, после чего зашагал дальше, опираясь на Лингга.

— Ты весь дрожишь, — сказал Лингг. — Станный вы народ, невротики; все делаете правильно, великолепно, а потом ломаетесь, как бабы. Пошли. Я не оставлю тебя, но, ради бога, перестань дрожать, возьми себя в руки. Выпей еще.

Я поднес фляжку к губам, но она оказалась пустой, и Лингг спрятал ее обратно в карман.

— У меня есть бутылка. Нам хватит бренди, но мы должны добраться до вокзала.

Навстречу показались пожарные машины с полицейскими, мчавшиеся, как

сумасшедшие туда, откуда мы шли. На улицах было полно народу, все кричали, жестикулировали, я подумал, что аффектированно, по-актерски. Похоже было, все знали о бомбе и говорили о ней. Я обратил внимание, что даже в полумиле от места взрыва асфальт усыпан стеклом, значит, и тут повывлетали окна.

Когда мы приблизились к железнодорожной станции, Лингг, прежде чем вывести меня на освещенное место, сказал:

— Дай мне поглядеть на тебя.

Он отпустил меня, и я чуть не упал, ноги у меня были как немецкие колбаски, словно без костей, гнулись во всех направлениях и дрожали, несмотря на все мои усилия.

— Послушай, Рудольф, давай постоим и поговорим. Ты должен собраться с силами. Выпей еще и забудь обо всем. Я спасу тебя. Слишком ты хорош, чтобы так просто бросаться тобой. Пойдем, дорогой друг, не позволим им поймать нас.

Сердце у меня колотилось, как бешеное, но я все же постарался утихомирить его. Выпил еще бренди, потом еще, словно пил воду. От этого мне стало немножко лучше. Через пару минут я почти пришел в себя.

— Все в порядке, — проговорил я. — Что теперь делать?

— Надо пройти через вокзал и, как ни в чем не бывало, сесть в поезд.

Я выпрямился, и мы отправились дальше. Однако, когда мы приблизились к барьеру, через который пропускали на поезд, идущий в Нью-Йорк, то поняли, что здесь уже известно о взрыве бомбы, потому что два полицейских стояли рядом с контролером. Первым их — за сотню ярдов — углядел ястребиным взором Лингг.

— Придется говорить, Рудольф. Если не можешь, то мы вернемся и сядем в поезд в пригороде Чикаго. Тебя зовут Уилли Робертс, однако тебе придется говорить за нас обоих, потому что у меня есть акцент, а у тебя нет. Сможешь? — (Я кивнул.) — Ну что ж, тогда вперед.

— Куда направляетесь? — услышал я в следующую минуту.

— В Нью-Йорк, — ответил я, останавливаясь рядом с контролером, пока Лингг показывал мой билет.

— Ваша фамилия?

— На билете, — ответил я, зевая. — Уилли Робертс.

— Я уж подумал, не из датчан ли вы, — со смехом произнес контролер. — Не слышали, сегодня был взрыв в восточной части города?

— Не слышал, — отозвался я, — но какой же мир без хорошей драки?

— Похоже на то, — произнес контролер, и все засмеялись. В следующую минуту он пробил мой билет и вернул его мне.

— Мой друг, — сказал я, — проводит меня и тотчас вернется.

Лингг поклонился ему с улыбкой и взял меня под руку.

— Прекрасно, — сказал он. — Лучше не придумаешь. Никто ничего не заподозрил. Им повезло.

— Почему? — спросил я.

Лингг посмотрел на меня и хитро улыбнулся.

— Потому что у меня в кармане еще одна бомба, так что им не удалось бы взять нас живыми.

Не знаю почему, но упоминание о второй бомбе вновь ввергло меня в ужас, и я опять задрожал всем телом. Вновь мне послышался неземной рев, и меня трясло так, что останавливалось сердце.

Не помню, как я оказался в поезде. Наверное, Лингг втащил меня на себе, и когда я вновь обрел способность чувствовать, то был уже в купе первого класса — сидел в углу.

Лингг поставил мой саквояж на сидение напротив, а сам устроился рядом. Неожиданно меня затошнило, и я сказал ему об этом. Лингг проводил меня в туалет, и там меня рвало так, как не рвало никогда в жизни, тошнота накатывала волна за волной, отчего я чувствовал себя слабым и больным, как будто во мне не осталось ни на гран энергии. Лингг дал мне глотнуть холодной воды, потом воды с капелькой бренди, открыл окно, и понемногу мне стало лучше.

— Лингг, у меня нет сил сидеть. У меня совсем нет сил. Не знаю, почему я так ослабел. — И, совсем разбитый, я потихоньку заплакал.

— Рудольф, все в порядке, — ласково произнес Лингг. — Я посижу с тобой, пока тебе не станет лучше. Можешь побыть один пять минут? Я дам телеграмму.

— Да. Но лучше бы тебе не уходить.

— Ну и ладно, — весело отозвался Лингг. — Я тут напишу телеграмму. Но если у тебя будет больной вид, тебя запомнят. Надень-ка шляпу, и мы вернемся на место. Телеграмму я напишу там. И помни, я буду с тобой, пока ты не придешь в себя. Прошу тебя только об одном, говори с кондуктором сам, потому что из-за моего акцента в нас сразу же определяют немцев. Пожалуйся, что слишком много выпил.

Через несколько минут поезд тронулся. Я сказал кондуктору, что мой друг проедет со мной до следующей станции, и дал ему доллар. Сказал, что нам надо поговорить, мол, мы давно не виделись, в Чикаго я оказался проездом, вот мы и выпили за встречу.

Потом я обратил внимание, что Лингг открыл окно с моей стороны, и вскоре почувствовал на лице свежий воздух и дождь. Понемногу мне стало лучше, и вот что удивительно: едва я почувствовал себя лучше, как зверски захотел есть. — Умираю от голода, — сказал я Линггу. — Меня трясет от холода и голода, но в остальном все нормально.

— Принесу тебе супа на следующей станции. Я рад, что ты справился. Слава богу, и румянец возвращается. Нам сопутствует удача.

— Мне стыдно, что меня так развезло, ведь ты был в опасности из-за меня.

— Ерунда, — отозвался Лингг. — Даже не думай об этом. Ты совершил то, что совершил, даже несмотря на физическую слабость.

Я воспрял духом.

В вагоне все это время были лишь две женщины, да и те устроились в другом конце, вероятно, им не нравилось открытое окно.

Через двадцать минут мы остановились, и Лингг принес мне суп; я съел его, и ко мне как будто стали возвращаться силы. Тогда-то я почувствовал сильнейшую головную боль и отчаянную усталость.

— Поспи, — сказал Лингг, закрыл окно и поставил мне под ноги саквояж. — Поспи, а я посижу рядом.

Мне показалось, что я тотчас заснул. Когда же я проснулся спустя два-три часа, поезд опять остановился. Мы приехали в . . .

— Тебе лучше? — спросил Лингг. — Если ты справишься, то лучше мне тут выйти, но если нет, я останусь с тобой на всю ночь.

— Со мной все хорошо, — храбро отозвался я.

— Ладно. До Нью-Йорка еще тридцать часов, а утром ты отплываешь на корабле «Шотландия», твое место во второй каюте. Ты плывешь как Уилли Робертс. Не опоздай на корабль, он доставит тебя в Ливерпуль. Ида свяжется с тобой по почте в Ливерпуле и Кардиффе, а Уилл Робертс сможет писать ей в Альтону как Джейн Теллер. Ты понял? Вот здесь все написано, я даже придумал для вас шифр по книге, название которой тоже тут есть. Никто на свете не сможет прочитать его, но на твоём месте я бы несколько месяцев не писал, сначала посмотрел, как пойдут дела. Суди сам. И помни, в сомнительных случаях самое лучшее — осторожность. И еще запомни, я взял с тебя обещание исчезнуть, тебя не должны поймать, ты помнишь? Я кивнул.

— Мы правильно поступили, да? — тихо спросил я.

— Конечно, Рудольф, — ответил он. — Конечно. Не сомневайся. И помни, я иду следом.

У него так сверкали глаза, словно он был богом.

— Я не сомневаюсь в тебе, однако меня мучают сомнения насчет правильности выбранного нами пути.

— Это потому, что ты потрясен и болен, — мрачно произнес Лингг. — Будь ты в добром здравии, не стал бы сомневаться. Вспомни, что они сделали, вспомни убитую девушку, мальчишку! А теперь прощай, дорогой друг, прощай! — И мы опять, но уже в последний раз, поцеловались.

В следующую минуту Лингг покинул вагон, и я остался один. Но я не мог быть один! Поэтому вскочил и бросился следом за ним; опять на меня повеяло смертельным холодом, но я взял себя в руки. В конце концов, если я верну его, то ему и Иде будет грозить большая опасность! Я не должен. И я стоял у двери, глядя, как он быстро и бесшумно шагает по платформе. В последний раз я видел его широкие плечи. Потом я вдохнул полную грудь воздуха и вернулся в вагон. На часах была уже половина первого. Новый день, мысленно проговорил я. Боже мой! Новый день . . . Через несколько минут пришел кондуктор и спросил, не хочу ли я спать.

— Я устрою вас через два места отсюда, номер десять. Ваш друг не хотел беспокоить вас раньше. Вы больны, да?

Я сказал ему, что был проездом в Чикаго, и мы устроили пир горой, так что я немного перебрал. Мы с другом давно не виделись.

— Так я и думал, — отозвался кондуктор. — Запах бренди. Не стоит так уж перебирать с непривычки. Недавно я сам чуть не умер. Не могу много пить, ну, полбутылки бурбона, а если хвачу лишку, то так и тянет подраться. Совсем голову теряю. Наверное, схватился бы и с эстакадой, окажись она рядом.

Этот обмен ничего не значащими фразами вернул меня к обычной жизни, и мне стало намного лучше.

— Посидите со мной. Выпьем еще, — предложил я.

— Нет, нет! — отказался кондуктор, качая головой. — Я обещал, правда! Сказал жене, что больше не буду пить, и не буду. . . У нас двое детишек, две девочки, одна светленькая, другая темненькая. Таких ангелочков не сыскать на всем свете! И я ни за что не пропью то, что должно пойти на них, нет, сэр. На этой работе у меня выходит всего сто долларов в месяц, правда, иногда удастся перехватить пару долларов лишних, но они нелегко мне достаются, богачи. . .

— Моя жена, — продолжал он, — великая мастерица экономить, так что сорока долларов нам хватает, но еще одежда, дом, налоги, больше тридцати долларов никак не сэкономить, нет, сэр, и за двадцать лет нам не нажать богатства, а ведь дочек у нас две. Красавицы. Вот, посмотрите. (И он полез в карман за фотографиями.) Вот это Джун, а это Джули. Мы так назвали их, потому что они родились в июне и в июле. Ну, не хорошенькие ли они? Что?

Естественно, я похвалил девочек, хотя он не очень-то нуждался в моих похвалах.

— Их мать из Кентукки, а я сам отсюда — индianец. А вы много разъезжаете? Зарабатываете этим?

— Да. Теперь возвращаюсь в Нью-Йорк, а через неделю опять в дорогу.

— Так я и подумал. Как только увидел, так и подумал.

Послышался удар колокола, и кондуктору пришлось возвратиться к своим обязанностям; но прежде я попросил его разбудить меня в девять часов утра и принести кофе, потому что я чувствовал себя по-прежнему. Он обещал, а я устроился поудобнее и постарался заснуть. Поначалу это казалось мне невозможным, однако я приложил все усилия, чтобы добиться своего. Мне нельзя думать, сказал я себе, мне надо спать, а чтобы заснуть, надо вспоминать, как сказал Лингг, о чем-то другом. Но в голове у меня царил пустота, да и стоило мне остаться одному, как я видел вспышку, слышал грохот и вспоминал жуткое зрелище. Тогда я стал мечтать об Элси, но мысли о ней разрывали мне сердце. И я решил на время забыть о прошлом.

Наконец выход был найден, я стал размышлять о девочках кондуктора: о темненькой и о светленькой. О «самых красивых детях в Буффало», из которых

одной семь, другой пять лет, и об их матери, лучшей в мире хозяйке, и об их бережливом и трудолюбивом отце. О прелестных крошках. На фотографии они не показались мне красивыми, но похвалы отца сделали свое дело, я тоже воображал их красавицами — больше я ничего не помню.

Веселый кондуктор разбудил меня утром и принес кофе. Услыхав его, я вскочил и стукнулся головой о верхнюю полку, после чего опять, весь дрожа, упал на полушку. — Боже мой! — воскликнул я. — Вы меня напугали!

— Если пьешь вечером, утром ужасный вкус во рту. Вы как?

— Ужасно. Еще и нервы. Совсем разболелся, весь дрожу.

— Мне ли не знать? Вставайте, одевайтесь и садитесь у открытого окна. День прекрасный, теплый, солнечный. Мертвого разбудит. Вот ваш кофе, ничуть не хуже, чем где-нибудь еще. С молоком — вам тотчас полегчает. Будь я на вашем месте, выбросил бы бренди в окошко.

— Мой друг сказал, что меня спасет собачья шерсть.

— Вот еще! Это зачем? Молодой человек, как вы, справится и без шерсти.

— Наверно, вы правы, — проговорил я, видимо, угодив ему.

— Слыхали новость? — спросил он, и я покачал головой, боясь выдать себя голосом.

— В Чикаго взорвали бомбы. На Хеймаркет проклятые иностранцы убили сто шестьдесят полицейских.

Сто шестьдесят! Я не сводил с него глаз, а в ушах у меня билось «Хеймаркет» (опять Лингг). Сто шестьдесят!

— Боже мой, ужасно!

— Да уж. Сегодня утром полицейские арестовали две тысячи человек. Наверно, поймали бомбистов, а в Чикаго веревка дешева. Вот уж попляшут, будь они прокляты, в удавке!

— Ну-у-у, — протянул я, соскальзывая с полки, — не хотелось бы мне так плясать.

— Наденьте ботинки и идите к окошку. Я сделал, как мне было сказано.

Первый экзамен я выдержал, сон придал мне сил, благословенное забвение подлатало порванное одеяние моих мыслей, и я опять стал самим собой, отринувшим страх, правда, бесконечно сожалеющим о . . .

Не надо думать о взрыве, и, чтобы не думать о нем, я стал вспоминать Элси, но и эти мысли были слишком горькими. О чем она сейчас думает? Сообразила ли она, что это сделал я? Попытается ли встретиться со мной? Поймет ли меня? Мне стало страшно. Лучше не вспоминать Элси.

Как только прошло, на мой взгляд, приличное время, я вновь позвал кондуктора и завел с ним разговор о его детях. Мне надо было лишь время от времени вставлять «неужели?» или «не может быть!», и он продолжал говорить, так что вскоре я все знал о нем, о его жене и уж, естественно, о его девочках, как он спас Джули от кашля, посадив ее в горячую ванну, как Джуни научилась ходить, когда ей не исполнился еще и годик: «Представляете, сэр, у нее такие

большие ножки, каких вы сроду не видывали». В итоге, я мог бы с легкостью написать историю его семьи. . .

Но мне стало не по себе, когда он передал меня другому кондуктору, неразговорчивому янки, от которого я не услышал, по-моему, за все время ни слова. Мне было страшно от его серых глаз, как у хорька, поэтому пришлось купить несколько книжек и заняться чтением, правда, мне ничего не запомнилось из них. Все же книжки придавали мне занятой вид, оберегавший меня от докучливых соседей. Наступило время обеда, потом чая, потом сна, но я не решался лечь. Мне казалось, что сон не придет ко мне, и я был прав. Опять усилилась головная боль. Размеренный стук колес, как молотком, бил по моим нервам. Глаз я не сомкнул, но совет Лингга — думать о чем-нибудь неважном — спасал, а так как я следовал ему постоянно, то в конце концов обрел некоторую уверенность в себе. Пока мысли мне подчиняются, говорил я себе, я хозяин своей жизни, и, если не считать времени от взрыва на Хеймаркет до того момента, как Лингг покинул меня, я в общем-то не терял над собой контроль. А поезд продолжал свою песню — чанкити-чанк, чанк, чанк! Чанкити-чанк, чанк, чанк! И так всю ночь. Мне казалось, что я не спал ни минуты.

Наконец ночь подошла к концу, и, как только позволили приличия, я встал, хотя еще не было шести часов, и увидел великолепный восход солнца над Гудзоном. Довольно долго поезд ехал вдоль великой реки. Позавтракав в семь часов, в десять я покинул свой вагон в абсолютной уверенности, что не пробудил подозрений ни у одного человека. Я до конца доиграл свою роль, даже сказал неразговорчивому кондуктору, что продаю спиртные напитки, но много денег не нажил, и буду рад, если он со мной выпьет. Но он в ответ покачал головой.

— Не пью.

— Тогда сигару?

— Не возражаю, — сказал он, и я вручил ему пятнадцатидесятицентовую сигару, словно это была дорогая сигара, и он оценил оказанное ему внимание. . .

Итак, я вернулся в Нью-Йорк! Меня не было чуть больше года, но за эти двенадцать месяцев я как будто прожил пятьдесят лет, целую жизнь!

Мне нельзя было показываться там, где меня знали. Куда мог бы пойти Билл Робертс? Во второразрядный отель. Туда я и направился, принял ванну, проверил всю одежду, нет ли где-нибудь метки с моим настоящим именем. Метки не было. Потом я разными почерками надписал пару конвертов, адресовав их Биллу Робертсу, испачкал их, надорвал в углах, один конверт сунул в саквояж, другой положил в карман вместе с бесценной книгой Лингга, которую торопливо просмотрел. В ней лежало письмо «дорогому Биллу», которое я тоже положил в карман, чтобы прочитать на досуге. Мне не терпелось выбраться на свежий воздух, на улицу, где я мог бы чувствовать себя легко и свободно. Отойдя немного от отеля, я остановил такси и поехал в Центральный парк, который был в трех-четырёх милях от моего отеля. Боже мой! Ну и красота! Я дошел до Риверсайд-драйв, сел на скамейку лицом к Гудзону и прочитал

письмо Лингга. Вот оно:

«ДОРОГОЙ БИЛЛ!

Ты будешь читать это письмо в Нью-Йорке или в своей любимой Англии, или среди валлийских гор. Где бы это ни было, знаю, ты не забудешь меня, как я никогда не забуду тебя. Может быть, нам повезет еще раз встретиться, но боюсь, этого не случится. Ты сказал, что навсегда останешься по другую сторону Атлантики, и я считаю это правильным, так как здешний климат тебе не годится. Я же навсегда останусь в Чикаго. Тем не менее наши души встретились, и мы были едины в труде и любви. Это придает мне сил.

Всегда твой,  
ДЖЕК».

Потом я отправился в итальянский ресторанчик, съел ленч и купил газеты. Ничего подобного я никогда не читал. Во всех газетах самая чудовищная ложь — рожденная злобой и страхом. В первый раз я увидел полицейское выражение: чикагский «невод». По подозрению в причастности к взрыву бомбы были арестованы четыре тысячи человек, среди них Спайс, Филден и Фишер, а Парсонса объявили в розыск. Похоже, Парсонс бежал из Чикаго в течение первого часа после взрыва. Из этих газет я понял, что это его считают бомбистом, поэтому на него устроили настоящую охоту.

Почти весь день я гулял; солнце и свежий воздух успокаивали мне нервы. Лживые газеты я лишь просмотрел, не имея сил внимательно их прочитать.

\* \* \*

На другое утро в девять часов я был уже на корабле; ночью в отеле мне не спалось. В пять часов я встал, оделся, побрился, потом отправился на пристань и на катере добрался до корабля, где сразу же стал искать свое место. К этому времени я уже придумал себе историю, будто я родился в Пемброкшире и теперь возвращаюсь обратно на родину. У меня не было сомнений в том, что, благодаря своему выговору, я везде сойду за американца.

На корабле только и было разговоров, что о взрыве бомбы в Чикаго. Все с нетерпением ждали, когда арестуют Парсонса, которого считали виновником случившегося. Теперь уже все всё знали. Оказалось, что раненых полицейских было шестьдесят, убитых — восемь, еще семерым грозила смерть, однако, как я узнал позже, очень много людей стали жертвами полицейских пуль. Обвиняемые Спайс, Фишер, Филден были признаны причастными к взрыву еще до того, как опознали полицейского Матиаса Д. Дегана, а его опознали первым.

Из-за этого обвинения мне стало тошно. Уж кому-кому, как не мне, было знать, что ни Спайс, ни Фишер, ни Филден не имели отношения к взрыву бомбы, будь то до опознания или после опознания; ни в коей мере они не были причастны к тому, что произошло. Конечно же, их невинность со временем



подтвердится. Я с улыбкой отвергал обвинение, но все же мне хватало ума не быть самоуверенным, ведь я лучше многих должен был знать лживость американского правосудия.

## Глава X

Благословенным отдыхом стало для меня плавание на «Шотландии» из Нью-Йорка в Ливерпуль. На борт парохода я поднялся со взвинченными нервами, раздираемым на части бесконечными вопросами больной совести, сходящим с ума из-за воспоминаний о невосполнимых потерях, о потере друзей и любимой. Меня словно с корнями вырвали из земли и обрекли на страдания и смерть. Однако стоило нам отчалить от берега, как начался благословенный процесс выздоровления. В спокойном «английском» поведении чиновников было что-то успокаивающее, стюарды тоже были всегда спокойны и внимательны, учтивы и заботливы, и медленное, спокойное течение жизни на борту корабля действовало на меня как лекарство. Мне не хотелось разговаривать, но я часто бывал там, где разговаривали другие, потому что это отвлекало меня от горьких мыслей и давало отдых измученным нервам.

В первый же день пассажиры поспешили встать на весы, и меня тоже увлекло вместе со всеми. В Чикаго я весил около ста шестидесяти фунтов, а теперь, к моему удивлению, оказалось, что во мне меньше ста пятидесяти фунтов. За три дня я потерял десять фунтов, хотя ел и пил, как всегда. Только теперь мне стало ясно, какое ужасное напряжение пришлось мне пережить.

Первые ночи на корабле мне все еще не спалось, морской воздух как будто возбуждал меня, к тому же меня с каждым часом все сильнее беспокоил Лингг, да и мысль о том, что я никогда больше не увижусь с Элси, ввергала меня в невыносимую тоску. Я не мог не думать о ней, о ее будущем, об ее отношении к моему внезапному и необъяснимому исчезновению. Вот так мои мысли бегали от опасности, грозившей Линггу, к тоске по Элси — утром, днем, вечером, — словно обезьянки в клетке, пока я не доводил себя до изнеможения.

Однажды утром стюард посетовал на то, что я неважно выгляжу, и, когда я признался в бессоннице, предложил мне обратиться к врачу. Итак, я отыскал доктора, который оказался милейшим человеком, невысоким шотландцем по фамилии Филип, темноволосым, симпатичным, участливым, остроумным и настоящим мастером своего дела. Обычно врач начинает с изучения болезни и заканчивает изучением пациента, но доктор Эдвард Филип, хотя ему не было еще тридцати, начал с изучения меня. Он сказал, что ему не составит труда помочь мне, и дал немного хлорала.

Неожиданно мне пришло в голову, что он мог бы прописать мне морфий, и я спросил его, почему он этого не сделал.

— Вам ни к чему морфий, да и у него, как правило, плохие последствия. — С этими словами доктор показал мне пузырек с крошечными таблетками морфия — в одну десятую грана.

В тот раз я ничего не сказал, лишь отметил про себя, что с доктором надо будет еще «поработать». Ушел я с таблеткой хлорала, вполне удовлетворенный

беседой. Филип сказал, что мне полезны физические упражнения, поэтому я весь день расхаживал по палубе, а в одиннадцать приготовился ко сну. Сначала я выпил шоколад, потом таблетку, но сна не было, и я стал привычно воображать двух дочек кондуктора, Джун и Джули, его непомерную гордость за них — и как будто провалился в пропасть.

Когда я открыл глаза, рядом стоял стюард.

— Семь часов, сэр! Вы просили разбудить вас в семь часов.

У меня было ощущение, будто я родился заново. Нет ничего лучше сна! Я встал, оделся, и с того дня началось мое выздоровление.

Каждый день я находил время зайти к доктору и побеседовать с ним и задолго до конца путешествия купил у него пузырек с таблетками морфия, половину которых оставил в стеклянном пузырьке и носил при себе в кармане брюк, а половину — в коробочке из-под других таблеток в кармане жилета, чтобы в случае ареста быстро проглотить их. У меня было твердое решение не сдаваться живым, однако, как ни странно, ареста я совсем не боялся. Жизнь не сулила мне ничего хорошего — без Элси и Лингга она была пуста и скучна, — поэтому мне было все равно, когда наступит конец, вот только я не желал заканчивать свой путь в позоре и на эшафоте. Благодаря уверенности, что у меня есть надежный и легкий способ избежать этого, мои нервы стали понемногу успокаиваться.

Шли дни, мы наслаждались солнцем и морским воздухом Атлантики, и я постепенно возвращался к своему обычному состоянию. День за днем я становился крепче и телом, и духом, а там и путешествие подошло к концу. Прекрасным майским утром около одиннадцати часов утра мы увидели землю и стали подниматься по Мерси к Ливерпулю. Доктор Филип порекомендовал мне тихий недорогой отель, и, поблагодарив его за заботу, я сошел на берег. На корабле я аккуратно брился каждое утро, поэтому не боялся, что меня узнают.

Прежде я никогда не был в Англии; дома показались мне крошечными и слишком многочисленными. Железнодорожные поезда выглядели игрушечными, вагоны — тем более, после пятидесятитонных американских вагонов. Ливерпуль же напомнил мне Гамбург, и потом тоже постоянно напоминал Гамбург сотней разных мелочей, да и англичане были похожи на немцев, отчего в памяти сразу возникли картинки из детства, но только англичане были похудее и повыше; я отметил про себя, что они лучше выглядели и лучше одевались, и от них веяло довольством. На каждом шагу я отмечал доказательства их благосостояния. Этот маленький остров и был, и производил впечатление центра великой империи. До отеля я добрался уже после ужина, купил вечернюю газету и первое, что увидел, фразу из небольшой заметки под заголовком «Чикаго»:

«Арест вождя анархистов».

У меня упало сердце. Неужели Лингга арестовали? В моем мозгу отпечатались каждое слово из телеграфного отчета. Подробностей почти не было,

имена не назывались, и такие скудные сведения испугали меня. Мне хотелось узнать побольше, но узнать было негде. Ночь прошла в волнении. Наутро в газетах появились кое-какие детали, но имен по-прежнему не было, хотя стало очевидно, что каким-то непонятным образом, вероятно, инстинктивно жители Чикаго поняли, что полицейские наконец-то поймали кого надо. Журналисты называли его «диким зверем». С чего бы это? Я ничего не понимал, но читал в каждой строчке страх и ненависть. Одно было ясно, арестованный произвел неизгладимое впечатление на журналистов. Я опять потерял сон.

К этому времени мне было уже известно в Ливерпуле одно место, где имелись все американские газеты, и я ходил туда каждый день. Примерно через неделю после того, как я оказался в Ливерпуле, мне в руки попала первая чикагская газета, в которой в глаза сразу бросилась заметка: «Арест Луиса Лингга». У меня сердце перевернулось в груди. Вскоре я смог восстановить в деталях, как все произошло, и стал понимать журналистские выражения типа: «дерзкий террорист», «бомбист», «дикий зверь».

Заместитель начальника участка Герман Шуттлер был не только храбрым, но и сильным человеком; однажды он одним ударом кулака убил закоренелого преступника. Когда полиции стало известно место проживания Лингга, Шуттлер тотчас принял меры, чтобы арестовать его. У полицейских, окруживших квартал, было описание внешности Лингга, но когда Шуттлер постучал в дверь, оказалось, что птичка уже улетела. Однако информатор дал исчерпывающие сведения. Ему было известно о небольшой мастерской, в которой Лингг проводил свободное от работы время. Шуттлер вместе со своим помощником Ловенштейном отправились туда. Это было простое одноэтажное строение, разделенное на большую рабочую комнату и две маленькие спальни. Дверь оказалась запертой. Но Шуттлер навалился на нее, и она поддалась. Сидевший возле камина, поближе к окну, Лингг повернулся на шум, бросил книгу, одним прыжком подскочил к полицейскому и вцепился ему в горло. В одной из газет Шуттлер назвал себя самым сильным жителем Чикаго, ему пришлось меряться силами не с одной дюжиной преступников, однако он признался журналистам, что ему еще никогда не доводилось сталкиваться с таким противником, как Лингг. Они катались по полу, сражались, как черти, и Лингг упорно тащил Шуттлера к двери. Они настолько крепко сцепились и так быстро двигались, что Ловенштейну оставалось лишь смотреть и ждать удобного случая. Наконец он подвернулся. Понемногу Лингг брал верх над Шуттлером, и Шуттлер признал, что стал задыхаться, когда Лингг засунул ему в рот большой палец, который тот чуть было не откусил. Несмотря на боль, Лингг повалил соперника, и еще мгновение, вышиб бы из него дух. Но когда Лингг оказался сверху и победа была близка, Ловенштейн ударил его по голове тяжелой дубинкой, лишив чувств, а потом, не дав очнуться, притащил в полицейский участок. Так или иначе, но все сразу же поняли, что в сеть попала большая рыба. Лингг не произнес ни слова, однако устроенное им побоище произвело впечатление,

да и весь его вид был таким необычным, что журналисты, не сговариваясь, назвали его «вождем террористов».

Перечитывая сообщения, я одного не мог понять, как полицейские узнали имя Лингга. И тут до меня дошло, что его предали, и доносчиком был никто иной, как Рабен. Я чувствовал это всеми фибрами своей души — белая змеюка! Ночь была ужасная, я ругал себя за дружбу с Рабеном, ужасная ночь!

На другой день я отправился на почту, где меня уже ждало письмо на имя Уилли Робертса. Письмо было от Иды, написанное нарочито невнятно, но я все понял. Начала Ида с того, что ее Джек опасно заболел, мол, она боится за него, но все же надеется на лучшее. В этом послании она напоминала мне о моем обещании и сообщала, что Джек просит меня помнить о том, что больной человек тоже способен на большие дела. Еще она сообщала, что каждый день видится с больным, живет его жизнью и больше ничем не интересуется.

На этом заканчивалась первая часть письма, связанная с Линггом. Кроме того Ида сообщила, что к ней приходила юная леди, очень злая и, по-видимому, искренне влюбленная в мистера Билла. Девушка поняла, почему Билл сбежал, простила его и готова ехать к нему по первому же зову. «Насколько я могу судить о любви, — писала Ида, — у этой девушки она настоящая». Вот только мать девушки как будто считает его неудачником, но это потому, что плохо его знает. Ида обещала передать девушке письмо, если Билл пожелает ей написать. А Д. просил сообщить, что Р. родом из Кариота.

Это было главное. Я должен был сдержать обещание и ждать того или иного поступка от Лингга. Подтвердилось и мое предположение насчет Рабена. «Р. родом из Карио-та» беспокоило меня, ведь я сразу вспомнил об Иуде Искариоте. Элси простила меня и готова ко мне ехать, как только я позову ее. Что же мне ответить? Вот что — я сдержу обещание, данное другу, и попрошу мою любимую забыть меня. Мне было больно выводить эти строки, зато потом я радовался, когда Элси не приняла их всерьез. Не надо говорить, что ответное письмо не должно было вызвать подозрений, даже попади оно в руки Бонфилда или Шуттлера.

Чем внимательнее я вчитывался в письмо Иды, тем меньше понимал, что Лингг хотел сказать фразой о заключенных, способных «на большие дела». Он же совершенно бессилён в тюрьме. И зачем было так отчаянно драться в мастерской? Даже я не представлял, насколько он умен и храбр.

Моя жизнь казалась мне совершенно бессмысленной. Я хотел вернуться и сдать властям, но меня удерживало от этого данное Линггу обещание, которое я потом повторил в поезде и о котором мне напомнила Ида. Что ж, мне ничего не оставалось, как ехать в Лондон и постараться хотя бы отчасти повлиять на английскую прессу, ведь ясно, что английские газеты в своих оценках полностью полагались на американцев, они лишь повторяли сенсационные эпитеты западных журналистов, не очень вдаваясь в подробности, так как в Англии к чикагскому взрыву и последующим событиям относились с меньшим

интересом, чем в Соединенных Штатах.

Если судить по чикагским газетам, то было очевидно, что все американское население насмерть перепугано хеймаркетской бомбой. Каждый день чикагская полиция обнаруживала еще по одной бомбе. Я уж было подумал, не началось ли там серийное производство бомб, но потом прочитал в нью-йоркском «Leader», что в семи разных случаях за бомбу принимали кусок газовой трубы. Капитан Бонфилд и его приспешники очень старались; «невод» — это их заслуга. За десять дней под тем или иным предлогом было арестовано больше десяти тысяч невинных людей, почти одних иностранцев, и среди них не оказалось ни одного анархиста, за исключением Лингга. Каждый день сотнями совершались незаконные аресты, каждый день несколько сотен невинных людей бросали в тюрьму без всякого на то основания. Полицейские, обнаружившие и арестовавшие больше «злодеев», получали повышение. Город был запуган до идиотизма.

В тот же день я переехал в Лондон и поселился в Сохо. За тихую гостиную и спальню с меня запросили пятнадцать шиллингов в неделю, зато за завтрак, чай с булочкой, всего три шиллинга и шесть пенсов. Моих денег мне хватило бы на пару лет, даже если бы возникли трудности с работой.

Хорошо, что я не очень-то рассчитывал на свое перо. Написав то, что я назвал «Власть террора в Чикаго», примерно на колонку, и обойдя несколько лондонских газет, я не нашел ни одного редактора, потому что ни один не был в своем офисе в рабочие часы, а на самом деле, ни один не захотел принять иностранного журналиста без рекомендательных писем. Труднее добиться приема у английского редактора, чем у государственного секретаря Соединенных Штатов Америки или даже у президента.

Когда мне надоело добиваться личной встречи, я сделал несколько копий статьи и отправил их в пять или шесть газет. Ответа не последовало. Я подумал, что статья должна быть более информативной, и включил в нее описание характеров нескольких человек, включая Спайса, англичанина Филдена и Энгеля. Я надеялся, что ее примут, и уж тогда у меня будет возможность сделать словесный портрет Лингга; не тут-то было — ни одна газета не опубликовала статью и ни одна не вернула мне оригинал. Тогда я начал понимать, что скучные английские газеты суть ментальные сумерки, устраивающие читателей.

Однако в Лондоне есть всё, любое проявление мысли и способностей. Однажды я отправился на собрание Социал-демократической федерации и нашел там людей, похожих на тех, которых знал в Америке. Правда, никто из ораторов не произвел на меня особого впечатления. Некий худой, с продолговатым лицом человек по фамилии Чэмпин, как мне сказали, армейский офицер, сумбурно говорил о коммунизме, в котором ничего не понимал. Зато мистер Хиндман, плотный, преуспевающий на вид еврей, производил впечатление начитанного человека и опытного оратора, хотя ему никак не удавалось ухватить суть предмета; все же он был искренен, честен и отлично понимал, как проис-

ходит организованное социальное надувательство; и так можно было сказать почти обо всех. Еще один оратор произвел на меня глубокое и приятное впечатление. Немного ниже среднего роста, крепко сбитый, плотный мужчина с круглой головой, большим лбом, приятными чертами лица и красивыми голубыми глазами, как оказалось, был поэтом Уильямом Моррисом. Его я слушал с большим интересом, хотя его идеи относились скорее к средневековью, чем к современности; все же он был милым и непосредственным. Мне он напомнил Энгеля и Филдена, все трое были одинаково добры и благожелательны.

Во время одного из собраний Социал-демократической федерации мне повезло услышать о газете Рейнольдса, и я отослал ему обе статьи. Рейнольдс отверг «Власть террора в Чикаго», но напечатал статью, в которой я писал о Спайсе, Филдене и Энгеле. Однако он изменил кое-какие эпитеты, а некоторые убрал совсем, так что статья стала похожа на акварель, по которой прошлись губкой.

Я должен был бы говорить об Англии только хорошее, потому что она дала мне кров и покой в самое трудное для меня время. Но в то же время мне было совершенно ясно, что Англия все еще, как во времена Гейне, самая ярая сторонница стабильности во всем мире. Индивидуализм здесь зашел еще дальше, чем в Америке, а остатки феодальной аристократии держались за еще более экстравагантное неравенство в имущественном владении и привилегиях. Бедность рассматривалась там как преступление, работные дома убивали людей бессмысленной работой, а также на редкость плохой едой. Каждый год в тюрьму отправляли сотню тысяч людей всего лишь за то, что они не могли заплатить небольшие налоги; еще тысячи людей попадали туда за долги — так как Англия стала последним прибежищем рабской системы в Европе. Законы о банкротстве были столь чудовищными, что напоминали об инквизиции. Осуждая людей на немислимые тюремные сроки за пустяковые преступления против собственности, английские судьи создавали класс преступников, закаленных жестоким обращением и полуголодным существованием. А тогда еще предлагалось обрекать этих мучеников на пожизненные сроки заключения. К животным в Англии относились лучше, чем в любой другой стране мира, зато к бедным людям — хуже, чем к лошадям в Неаполе или к собакам в Константинополе.

Получше узнав англичан, я полюбил их как благонамеренных людей, которые носят самые большие из возможных фиговых листков — но со временем листок отваливается с одного места и накрепко лепится к другому.

В Лондоне я провел весь июнь, и мне удалось напечатать несколько статей в прогрессивной прессе. Заплатили за них вполне прилично, а так как тратил я очень мало, то мои сбережения остались целы. Каждый раз, когда приходили чикагские газеты, я прочитывал их от корки до корки, раз от разу все больше поражаясь глупости чикагской полиции и невероятному результату, который имела ее трусость среди американского населения. Полицейские исповедо-

вали один принцип — они арестовывали всех иностранцев, которые только попадали им под руку, и к середине июня в тюрьмах уже было от двенадцати до пятнадцати тысяч невинных мужчин и женщин, тем не менее появлялись все новые бомбы, винтовки и анархистские клубы.

Когда за работу взялся государственный обвинитель, то вскоре он обнаружил, что почти все аресты были незаконными, более того, дурацкими, и заключенных, несмотря на протесты полицейских, пришлось освобождать буквально тысячами — не за что было уцепиться, чтобы предъявить им обвинение. Самое большее, что мог сделать прокурор, это собрать в группу людей, связанных с прогрессивными газетами, и их друзей и попытаться состряпать дело. Естественно, обвинение предъявили Спайсу и его заместителю Швабу, а также Фишеру и Филдену на основании некоторых из их речей, Линггу как основателю Клуба взаимного обучения и бедняге Энгелю, потому что он всегда посещал собрания и был большим поклонником Спайса. Парсонсу тоже предъявили обвинение, вот только его самого не могли найти.

Позиция обвиняемых резко контрастировала со всей этой глупостью и подлостью. Ни один из них не отверг обвинение, не попытался свалить вину за пребывание в тюрьме на товарищей и отказаться от своих взглядов. Наконец наступил кульминационный момент в этом тихом, никому неведомом противостоянии, в котором верх брали узники. Полиции не удалось найти Парсонса, но неожиданно в печати появилось его письмо, в котором он объявлял себя невиновным, однако писал, что готов отдать себя в руки властей и предстать перед судом вместе с товарищами. Так вот, в один прекрасный день, вызвав всеобщее изумление, он, как ни в чем не бывало, сел в чикагский поезд и явился в полицейский участок.

Поступок Парсонса, о котором было немедленно сообщено в Лондон и напечатано в лондонских газетах, имел определенные последствия. В первую очередь, он пробудил симпатию к нему и к другим узникам. Многие американцы усомнились в том, что виновный человек мог бы так поступить, а если невиновен Парсонс, то и остальные восемь человек не могли быть виновными. Но кто-то же бросил бомбу, и одного человека следовало за это наказать. Во-вторых, то, что Парсонс добровольно сдался властям, касалось меня. Полицейские, наверняка, вновь и с удвоенной силой начнут искать настоящего «преступника»; естественно, что это не Парсонс, иначе он не сунул бы голову в пасть льва. Логика подсказывала, что они опять прибегнут к помощи информатора, который предал Лингга. Если мы с Линггом не ошиблись и информатор — Рабен, то теперь он назовет меня, потому что мое затянувшееся отсутствие подтвердит его подозрения насчет истинного виновника взрыва.

Через два дня после ставшего сенсацией возвращения Парсонса пришло сообщение о том, что бомбу бросил немецкий писатель Рудольф Шнобельт, который поспешно покинул Америку и вернулся в Германию, где теперь, в первую очередь в Баварии, его разыскивает полиция. Информатором был



Рабен. Насчет этого у меня не осталось ни малейшего сомнения. Но, к счастью, он ничего не знал точно, у него были только подозрения при полном отсутствии доказательств. Тем не менее я тотчас написал Иде и поставил ее в известность о том, что со мной все в порядке и я хочу еще раз повидать Чикаго. Я бы немедленно отправился в обратный путь, если бы мог чем-нибудь помочь обвиняемым, если бы от меня была хоть какая-нибудь польза. Не напишет ли она, что думает по этому поводу Джек? Всегда твой и его, «Билл».

Десять дней спустя пришло письмо от Иды, написанное, по всему видно, после того, как Парсонс сдался полиции и всплыло мое имя. Она просила меня не покидать Лондон; Джеку немного лучше и врачи надеются, что он оправится. В любом случае он верит, что я навсегда останусь на родине. Ида прибавила, что довольно часто видится с моей юной подружкой, которая посылает мне тысячу любовных приветов.

Я не ответил. Мне нечего было сообщить Элси, разве чтобы она поскорее забыла меня, да и надо сказать, что определенная мне линия поведения тоже не доставляла удовольствия. Я мучился, понимая, что должен быть в Чикаго и во всем признаться ради освобождения невинных людей, но меня по рукам и ногам связывало обещание, да еще мысль о том, что Лингг считает его правильным. Кроме того, мое признание не освободило бы Лингга, пусть даже я взял бы на себя всю вину, так как чикагские газеты с уверенностью сообщали о том, что в принадлежащей ему мастерской найдены материалы для бомб и книги по химии, в которых его рукой написана до тех пор неизвестная формула весьма эффективного взрывчатого вещества. Кажется, даже подслеповатая публика и газеты начали постепенно подозревать, что настоящий центр бури — Лингг. Я приведу тут в целом объективное описание этого человека, вышедшее из-под пера американского свидетеля, который до и во время суда пристально изучал его, и сделаю это для того, чтобы мои читатели увидели, какое впечатление Лингг производил на лучших из журналистов:

«Странным в этой группе, самым странным из всех, кого я когда-либо знал, и наименее человечным мне кажется Луис Лингг. Он напоминает современного берсеркера, совершенно пренебрегающего собой и живущего исключительно яростной местью обществу. Когда он в состоянии покоя, его невероятную силу трудно разглядеть. Он немного ниже среднего роста<sup>1</sup>, хорошо сложен, у него рыжеватые волосы, здоровый цвет лица и самые невероятные глаза, когда-либо виденные мной, стального цвета, пронзительные и в глубине одновременно ледяные и горящие ненавистью. У него небольшие изящные руки, красивой

---

<sup>1</sup> Любопытно отметить, как даже аккуратные обозреватели ошибаются в важных вещах. Автор предлагаемого отрывка считает, что Лингг «немного ниже среднего роста», тогда как на самом деле он был немного выше среднего роста, то есть пяти футов восьми дюймов в носках. Шаак, полицейский капитан, позже заметил в печати, что Лингг — высокий мужчина. — Примеч. ред. издания 1963 г.

лепки, большая голова, в выражении лица отражены и хорошее воспитание и образование. Мне часто приходится наблюдать, как он ходит взад и вперед по тюремному коридору, и тогда его мягкие, скользящие и на удивление тихие шаги, а также игра мускулов на плечах напоминают что-то кошачье, нечеловеческое, и это впечатление усиливала львиная грива волос, которая была у него при аресте, хотя потом он коротко постригся и всегда показывается чисто выбритым. В общем, для обыкновенного человека он — самая поразительная личность, какой мне еще не приходилось встречать. На вопросы или замечания он обычно отвечает, глядя на собеседника приводящим в замешательство взглядом, и мне кажется, многие с облегчением вздыхают, зная, что он по другую сторону стальной решетки. . . »

## Глава XI

Чикагский суд стал невероятным, чудовищным символом — даже для меня — человеческой жестокости. Кажется естественным ждать, что в суде, где рассматриваются вопросы жизни и смерти, проявятся лучшие стороны личности. И страшно видеть, что даже там ни в коей степени не изменяется натура или хотя бы поведение обыкновенных людей.

В течение всего года чикагские капиталистические газеты бесстыдно придерживались одной точки зрения. День за днем их колонки заполнялись яростными восхвалениями полиции; вновь и вновь они призывали Бонфилда и его помощников «использовать свинец» против нас; но я рассчитывал, что с началом суда это прекратится, что наемные «защитники» установленного социального порядка попридержат свои руки, по крайней мере, на время. Они могли не сомневаться, что выбранные ими судьи и машина закона, которую они установили, сработают в соответствии с заложенными в них программами. Но я считал, что это будет честная игра, в которой семерых из восьми подсудимых придется оправдать, так как эти семеро не то что не кидали бомбу, но и ни сном, ни духом не ведали об ее существовании. Ну и дураком же я был! Мне все еще казалось, что невинного человека в суде ждет оправдание.

Но потом при мысли о суде не отпускавший меня страх стал усиливаться, я боялся, что дело будет сфабриковано, и боялся в основном этого. Полицейские уже заявили, что нашли у Лингга дома бомбы. Но я слишком хорошо знал Лингга и понимал, что они говорят неправду. Лингг никогда не рискнул бы жизнью Иды, вовлекая ее в свои дела. Из описания помещения, где его арестовали, было ясно, что это мастерская, и если бомбы действительно найдены, то они могли быть найдены исключительно там. К тому же, полицейское описание бомб, якобы имевшихся дома у Лингга, не соответствовало действительности. У бомб Лингга была совсем другая форма, и, самое главное, в них не было динамита, Лингг его не использовал. По этим причинам мне стало ясно, что бомбы существовали исключительно в воображении полицейских или были ими сфабрикованы. Но если полицейские состряпали ложные улики против Лингга, то им ничего не стоило сделать то же самое и в отношении других обвиняемых. У меня появились опасения насчет результата судебного слушания, и, как оказалось, не без оснований. Из следующей порции чикагских газет стало ясно, что полицейские нашли бомбы в столе Парсонса, в доме Спайса, немного позже — в магазине Энгеля. Читать дальше не имело смысла. Чикагские полицейские превзошли самих себя, не придумав ничего лучшего, как обвинить в делании бомб старого добряка Энгеля. Но газеты к этим полицейским откровениям относились с полной серьезностью; они публиковали чертежи бомб, чертежи взрывателей, всего того, что могло заранее посеять неприязнь к подсудимым, пробудить ужас в сердцах обывателей. Очевидно,

что установившие современный порядок богатые грабители решили во что бы то ни стало сокрушить своих врагов. Почему я должен сомневаться, правильно ли поступаю, называя их грабителями? Разве не Рёскин, когда писал о Парижской коммуне, употребил такие слова: «... капиталисты — главные воры в Европе...»? Разве не он нападал, и правильно нападал, на то, что «тайное воровство, воровство скрытое, и скрытое даже от самого себя, законное, respectable и трусливое, которое развращает тело и душу человека»? Если же Рёскин для вас не авторитет, то, может быть, вас убедят Карлейль, Бальзак, Гете, Ибсен, Гейне, Анатоль Франс, Толстой, любой из вождей современной мысли? С этим они все согласны. А я, соглашаясь с ними, намерен показать, как заговорщики из законных чикагских воров защищали себя или, скажем, избавлялись от оппонентов. Прошу моих читателей поверить, что я выставлю напоказ их бесстыдную месть не из злости, а как предупреждение и урок тому классу, который представляю сам. Рабочим людям полезно знать, как средние классы протитутуют правосудие в самой демократической стране христианского мира.

Суд стал жестоким фарсом; от начала до конца — извращением правосудия. За несколько недель до его начала газеты, как я уже говорил, травили умы чикагцев всеми возможными измышлениями полицейских — для «анархистской собаки», по мнению журналистов, любая палка была хороша. Когда же суд начался, несколько тысяч человек все еще находились в чикагской тюрьме по подозрению в причастности к взрыву; их держали там ради защиты членов суда, как средство, которым можно было терроризировать свидетелей, которых могла бы вызвать сторона защиты.

День за днем зал суда заполняли сторонники установленного порядка, прилично одетые граждане, которые не стеснялись выказывать свои чувства смехом или стоном. Пролетариев же, которых было в десять раз больше, в зал суда не допустили; не допустили и их представителей, а тех, которые посмели явиться, тотчас взяли под стражу и потащили в тюрьму без всякого намека на законность, в устрашение остальным. Отвратительный жалкий фарс!

Начнем с того, что суд начался слишком скоро после предъявления обвинения, что было нечестно по отношению к обвиняемым, и уж никак не говорило о непредвзятости. Он начался двадцать первого июня, через шесть недель после взрыва бомбы. К тому же, прошло слишком мало времени, чтобы люди пришли в себя и могли всерьез подумать о правосудии, более того, хотя адвокаты просили об изменении места заседаний, им было в этом отказано. Не только в зале присутствовали единственно представители среднего класса, присяжных заседателей тоже выбирали по принадлежности к определенному слою общества. Из тысячи возможных присяжных всего лишь десять были из четырнадцатого административного района города, то есть из рабочего квартала, хотя в этом районе жило сто тридцать тысяч человек, тогда как все население Чикаго составляло пятьсот тысяч. Чтобы вдвойне обезопасить себя,

даже эти десять человек, взятые из четырнадцатого округа, были тщательно отобраны полицейскими. Естественно, все они жили в нескольких ярдах от полицейского участка. И напрасно капитан Блэк, адвокат защиты, использовал свое право и вычеркнул этих людей из списка; он вычеркнул всех, кого ему позволили вычеркнуть, сто шестьдесят человек на восемь подзащитных; однако все остальные предполагаемые присяжные принадлежали к одному классу, и тут он оказался бессилён. Приведу один пример. Капитан Блэк вычеркнул одного из предполагаемых присяжных, после чего апеллировал к судье, приводя в качестве обоснования заявление этого человека о том, что он заранее признал всех обвиняемых виновными — еще до того, как пришел в суд. Тем не менее судья, выставив напоказ собственные предрассудки или демонстрируя свои симпатии к классу капиталистов, позволил названному человеку занять место на скамье присяжных.

Пожалуй, Понтий Пилат был бесконечно честнее судьи Гэри; у Пилата были дурные предчувствия, время от времени он делал попытки доказать свою честность, не то что Гэри. С начала до конца тот поддерживал государственного обвинителя Гринелла и противодействовал адвокатам обвиняемых. Один пример. Он позволил приобщить к делу работу полусумасшедшего анархиста Моста, которая якобы свидетельствовала против обвиняемых, хотя не было доказано, что хотя бы один из них держал книгу в руках, да и написана она была на языке, незнакомом ни Филдену, ни Парсонсу. При наличии враждебной публики в зале суда, при наличии враждебных газет, доведших неприязнь к подсудимым до массовой истерии, при наличии ярой враждебности присяжных, при наличии судьи, который использовал все возможности, чтобы настроить присяжных против подсудимых, оставалось мало надежд на благоприятный исход дела. Несмотря на все это, оставалась надежда, что дело, шитое на живую нитку, может в любую минуту развалиться.

Главными свидетелями в защиту полицейских выступали капитан Джон Бонфилд и господа Селиджер, Джансен и Ши. Они противоречили себе и друг другу буквально по всем вопросам. Бонфилда спросили, не говорил ли он, что, попади ему в руки тысяча социалистов и анархистов . . . он быстро с ними расправился бы? Бонфилд признал, что говорил нечто подобное, но заявил, что это было оправдано сложившимися условиями. Селиджер жил в полицейском участке и признал получение больших денежных сумм от полиции.

Джансен и Ши сообщили, что участвовали в работе социалистических клубов и произносили речи, в которых призывали рабочих воевать с полицией — в дальнейшем они признались, что им платили за их услуги. Тем не менее судья Гэри признал их свидетельские показания на том основании, что в важнейших пунктах они остались неизменными при перекрестном допросе. И все же эти свидетели, по их собственному утверждению, были агентами-provokatorами. Это издевательство над правосудием продолжалось два месяца, но еще задолго до конца я с ужасом понял, что все восемь подсудимых будут признаны

виновными, хотя в некоторые моменты, казалось, даже присяжные не находят ничего преступного в их действиях.

Как адвокат защиты капитан Блэк отлично делал свое дело, кстати, он камня на камне не оставил от обвинения, выдвинутого государственным обвинителем, заявив, что сначала всем восьми подсудимым было предъявлено обвинение в убийстве, а уж потом полицейские в течение нескольких недель искали доказательства, подтверждающие, что именно они собирали и взрывали бомбы, по крайней мере, были к этому причастны (одна бомба, брошенная мной, превратилась, согласно показаниям полицейских, в три бомбы). Капитан Блэк указал, что это дело разваливается при малейшем прикосновении, так как нет ни одного мало-мальски надежного свидетельства, связывающего того или иного подсудимого со взрывом бомбы. Потом он заметил, что государственный обвинитель Гриннелл, понимая это, стал понемногу менять свою позицию и в конце концов обвинил подсудимых в принадлежности к анархистам. «Обвинение сейчас старается доказать, что эти люди своими речами и статьями побуждали убивать». И он продолжал высмеивать саму идею, будто существует связь между гневными речами его подопечных и взрывом бомбы. В своем последнем обращении к присяжным он призвал их рассматривать судебный процесс как политический, в котором горячие речи выступавших с обеих сторон нельзя принимать всерьез; однако ему не удалось достучаться до здравого смысла присяжных. Они вынесли вердикт «виновен» всем восьми подсудимым.

Цена этого вердикта ясна еще из одного факта. Среди восьми подсудимых был некий Оскар Нееб, против которого вообще ничего не было, так как и выступал он весьма скромно, и на Десплейнс-стрит во время митинга его никто не видел, тем не менее присяжные, не желая делать исключений, и его тоже назвали виновным наряду с остальными. Потом подсудимым предоставили последнее слово.

Один за другим они поднимались со своих мест и произносили такие потрясающие речи, каких даже я не ждал от них. Естественно, Парсонс великолепно использовал представившуюся возможность и по всем показателям превзошел себя. Сначала он привлек внимание слушателей к тому, что судебный процесс является лишь одним из инцидентов в долгом конфликте капитала и труда. «Хорошо известно, — заявил он, — что у миллионеров из Ассоциации граждан Чикаго деньги текли рекой, чтобы взгляд представителей власти не застревал ни на одном слабом пункте обвинения. Эти же миллионеры имели к своим услугам и капиталистическую прессу — «продажную и бесчестную организацию наемных лжецов. . .» Судебный процесс был инициирован капиталистической толпой, проведен толпой, под смех и вой толпы, и в результате толпа же вынесла вердикт. . .

Теперь вам приказывают вынести вердикт, осуждающий нас как анархистов, — продолжал он. — Так почему бы сначала не посмотреть капиталистические

газеты, ведь мы делали лишь ответные шаги? Когда матросы в доках забастовали, требуя повышения заработной платы, что написала «The Chicago Times»? «Их надо забросать ручными гранатами, преподать им наглядный урок, чтобы другие рабочие сто раз подумали, прежде чем бросать работу. . .» А что писала «The New York Herald»? «Жестокие забастовщики понимают лишь язык насилия, и они должны получить сполна, чтобы помнили даже их внуки». А что писала «The Indianapolis Journal»? «Пусть забастовщики поголодают несколько дней, и посмотрим, как им это понравится». И «Chicago Tribune» была не лучше. «Дайте им стрихнин».

Разве редакторы и журналисты этих газет не должны предстать перед судом за призыв к убийству? Ведь убийства совершались одно за другим в результате их поощрений. Я процитировал вам фразу из «Chicago Tribune». Через три дня после выхода газеты семь безоружных забастовщиков были застрелены полицейскими — хладнокровно убиты. Были арестованы редактор газеты или журналист, писавший статью, по обвинению в убийстве? Очевидно, в Америке одно правосудие для богатых и другое — для бедных. Нас, анархистов, надо судить как убийц, любое непродуманное, горькое слово оборачивается против нас, а ведь если посмотреть непредвзято, мы имели право на ненависть. Думаете, так легко видеть голодающих рабочих, выброшенных на улицу? Видеть их жен и детей, которые с каждым днем все больше худеют и слабеют? В Чикаго этой зимой тридцать тысяч рабочих были не у дел, а если принять во внимание, что у каждого в среднем по трое детей, то почти треть населения Чикаго в течение нескольких месяцев умирала от голода. Когда мы видим детей, проходящих в ворота заводов, а ведь у них еще слабые косточки, когда мы видим, как их отрывают от домашнего очага, как бросают в фабричные тюрьмы, как их маленькие тела обращаются в золото, пополняющее запасы миллионера или украшающее распутную аристократку, наступает наша пора сказать свое слово.

Судья Гэри заявил, что сопротивление правосудию является преступлением, а если это сопротивление приводит к смерти людей, то оно является убийством. Что ж, судья Гэри ошибается. Наша Декларация независимости выше того, что думает судья Гэри, а она утверждает, что сопротивление тирании незаконной власти справедливо, а что может быть более незаконным, чем дубинки и револьверы полицейских, направленные против безоружных людей, которые принимают всерьез американское право на свободу слова и собраний? Судья Гэри умрет и будет забыт, а Декларация независимости навсегда останется памятником человеческой мудрости. . .

Государственный обвинитель попытался пробудить неприязнь ко мне лично, назвав меня «платным агитатором». Да, мне платили и будут платить. Я получаю жалование, установленное мною самим, в восемь долларов в неделю, за редактирование газеты «The Alarm» и за все другие работы. Восемь долларов в неделю — на это живем мы с моей женой — «платный агитатор». Пусть все

судят, много это или мало.

Не думайте, господа обвинители, что с этим делом будет покончено, когда мое безжизненное тело отнесут на поле горшечника. Не воображайте, что сможете поставить крест на этом деле, повесив меня и моих товарищей! Я говорю вам, будет другой суд, будут другие присяжные и будет справедливый вердикт».

Я привел несколько отрывков из речи Парсонса, взяв кусочек из одной газеты и кусочек из другой, так как несмотря на то, что говорил он два дня, ни одна газета не напечатала больше колонки. В тех газетах, «The Chicago Tribune» и «The Chicago Times», которые предоставили свои страницы полицейским, исключив разве что противоречия в их высказываниях, и полностью напечатали речь обвинителя, из ста слов Парсонса свет увидело разве лишь одно. Но даже предубежденные против него газеты вынуждены были признать его речь не только великой, но и имевшей большое влияние.

Зная Энгеля и будучи вдали, я должен признать, что его речь произвела на меня не меньшее впечатление, она даже сильнее тронула меня своей человеческой честностью. Он не стал переносить войну во вражеский лагерь, как это сделал Парсонс, а попросту описал страдания бедняков и признался, что его симпатии, естественно, с теми, кто работает и голодает, кто терпит грубость и унижение. Сказанное Эн-гелем пробуждало лучшее в людях. Однако кульминацией судебного процесса стала речь Лингга, хотя она была очень короткой.

— Не иначе как иронически, — проговорил он, — можно назвать честным этот судебный процесс с отлично подобранными присяжными, заранее настроенным против нас судьей и толпой наемных свидетелей-полицейских, но еще большая ирония состоит в том, что, признав нас «виновными», нас спрашивают, не имеем ли мы чего-нибудь против повешения, хотя понятно, что, заговори мы даже языком ангелов, виселицы нам не избежать.

Я был намерен, — продолжал Лингг, — защищать себя, однако суд оказался нечестным и до того отвратительным с его заранее определенной целью и задачей, что я не буду тратить понапрасну слова. Ваши хозяева-капиталисты жаждут крови, так зачем же заставлять их ждать?

Другие обвиняемые сказали, что не верят в насилие. На это могу вам сообщить, что им со мной не по пути. Они невиновны, все и каждый из них; а я на это не претендую. Я верю в насилие точно так же, как вы верите в него. В этом мое оправдание. Сила — высший судья в человеческих делах. Вы били дубинками безоружных рабочих, стреляли в них на своих улицах, убивали их жен и детей. Пока вы делаете это, мы, называющие себя анархистами, будем взрывать вас.

Не успокаивайте себя тем, что мы жили и умерли напрасно. Хеймаркетская бомба по крайней мере лет на двадцать заставит полицейских забыть о дубинках и револьверах. И эта бомба первая, но не последняя . . .



Я презираю вас. Презираю ваше общество с его обращением с бедняками, ваши суды и ваши законы, вашу власть, поддерживаемую силой. Вешайте меня за это!

Судя по откликам, речь Лингга произвела поразительное впечатление своей продуманной холодностью, нарочито беспристрастным началом, откровенным признанием веры в насилие, благородным заявлением о невиновности остальных, своей смелостью. Никто не остался к ней безразличен. Тем более безразличен к заявлению, что хеймаркетская бомба не последняя. Вот только на судью речь Лингга не произвела никакого впечатления.

Определяя меру наказания, судья Гэри начал с того, что ему жаль подсудимых, которые попали в тяжелое положение, «однако закон считает того, кто подстрекает к убийству, виновным в убийстве, совершенном по его подстрекательству. . . » Потом он продолжал, сказав, что «подсудимый Нееб осужден на заключение в тюрьму с использованием его на тяжелых работах сроком на пятнадцать лет, тогда как все остальные подсудимые, согласно закону штата, осуждены на смерть через повешение в период от двух часов ночи до двух часов пополудни третьего декабря. Уведите осужденных».

Что происходило в зале суда, дух и смысл судебного процесса можно понять по статье, опубликованной в «The Chicago Tribune», в которой вердикт и приговор приветствуются с невероятной, бесстыдной радостью. Статья называлась «Чикаго вешает анархистов», и автор предложил немедленно провести подписку на сто тысяч долларов для присяжных, великолепно справившихся со своими обязанностями.

Не могу описать, что я испытал в те два месяца, пока шел суд, как надежда сменялась отчаянием и отчаяние — надеждой. Шестидесят дней мучений. Я говорю фигурально, потому что английский язык вообще метафорический, созданный поэтами и романтическими писателями, людьми с воображением, а не людьми с открытым взглядом и ясным мышлением; тогда как новая жизнь требует новых слов, и язык чистого факта весьма впечатляющ. Судебный процесс не дошел и до половины, а я вновь перестал спать, как это было после моего бегства из Чикаго. Поначалу я не обратил на это особого внимания, мол, стоит хорошо поработать, и все будет в порядке. Но по мере того, как крепло мое убеждение в том, что подсудимые будут казнены — Парсонс, который сдался властям добровольно, Спайс, милый Филден, дорогой старина Энгель, Лингг, — бессонница усиливалась, и, как бы я ни уставал, заснуть мне удавалось, только приняв хлорал или сделав укол морфия. Даже когда я отправлялся в Ричмонд-парк и проводил целые дни в этом прекрасном месте, заснуть все равно не получалось; но, даже задремав, я видел такие кошмары, что просыпался, дрожа от ужаса.

Чем сильнее я переживал, тем отвратительнее становились галлюцинации. Помнится, какой-то жуткий глаз все смотрел и смотрел на меня, пока я не просыпался. В моих снах глаз начинал светиться, и, опять увидев Крейнсэлли,

грузовик, ораторов и красный огонек, как падающая звезда, потом яму на улице, окровавленные человеческие останки, я просыпался в холодном поту и весь дрожа.

В других снах сначала появлялся огонек и превращался в клюв, потом я видел крылья, и птица приближалась и приближалась, пока я не осознавал, что она хочет выклевать мне глаза, после чего она оказывалась совсем близко и превращалась в жуткую улицу, а я опять просыпался, еле переводя дух от ужаса.

Даже когда я просто закрывал глаза, то видел калейдоскоп решеток и колец. Иногда не было никакого калейдоскопа, а был один красный цвет, потом он уступал место оранжевому, а потом чередовались красные и оранжевые решетки. Ну как можно было спать, если нервы выкидывали подобные штуки?

Бессонница сделала мое существование нестерпимым: я потерял аппетит и начал слабеть. Пришлось пойти к врачу. Он сказал, что я страдаю нервным расстройством и мне надо хорошенько отдохнуть, иначе будут серьезные последствия. Я спросил, как мне отдыхать? Тогда он покачал мудрой головой и посоветовал не думать о неприятных вещах, побольше гулять, пожить на свежем воздухе — все равно что сказать голодному, мол, надо положить тысячу фунтов в банк.

Перелом наступил ближе к концу судебного процесса. Я был не дома, читал газеты и забыл захватить с собой что-нибудь из еды. Когда я вернулся, то раза в два быстрее обычного поднялся по лестнице. Стоило мне войти в комнату и закрыть дверь, как все поплыло у меня перед глазами и я сполз на пол вдоль двери. Когда же пришел в себя, то ощутил ужасную слабость, тем не менее умудрился залезть в постель, после чего пролежал, не двигаясь, около часа. На мое счастье заглянула служанка, чтобы налить воду в кувшин, и я попросил ее принести мне какао и хлеб с маслом. Поев, я немного ожил, но все же был еще слишком слаб, чтобы встать. На другой день слабость продолжалась, и я удивился, увидав в зеркале бледное осунувшееся лицо, которое обычно было круглым и румяным.

Шли дни, я понемногу набирался сил, но нервы не давали мне покоя еще несколько месяцев. Тогда я помногу часов сидел, не двигаясь, в кресле около окна, и слезы текли у меня из глаз.

Звучит странно, но после вынесения вердикта, когда спал ажиотаж, я начал приходить в себя. И решил вернуться в Чикаго, чтобы сдать властям. Это решение несколько успокоило меня, улеглись жестокие сомнения, и я стал лучше спать. Но еще через несколько дней пришло новое письмо из Чикаго, заставившее меня отказаться от своего решения и двинуться в совершенно новом направлении.

Именно это письмо вернуло меня к жизни, поставив передо мной новую цель: «Джек очень волнуется за тебя, — писала Ида. — Он надеется, что ты напишешь историю его болезни и своего изгнания. Скажи ему, — вновь и

вновь просит он, — что он прирожденный писатель, а одна хорошая книга стоит тысячи поступков. Я полагаюсь на то, что он будет писать и не станет больше ни во что ввязываться. . . »

Наверное, Лингг был прав. Во всяком случае, его совет поддержал меня, и я тотчас принялся писать известную вам книгу, которая — ведь я обрел цель в жизни и необходимость трудиться — медленно, но вернула меня к жизни.

Поначалу я писал как завзятый репортер и, написав сотню страниц, обнаружил, что еще не все сказал о собственном детстве. Тогда я разорвал исписанные бумаги и начал все сначала, положив не использовать того, что не имеет отношения к главной теме, и благодаря этому решению — несмотря на отсутствие таланта и чудовищную неопытность — смог дойти до конца; однако никто лучше меня не понимает, насколько я недостоин выбранной мной темы. Я твердо знаю, что эта книга становится интересной лишь тогда, когда в ней появляются настоящие большие личности — Лингг, Ида, Элси, Парсонс, — поэтому я возвращаюсь к ним, к моей истории, ведь величайшие и ужаснейшие события еще впереди.

Все прошедшие месяцы я не мог выкинуть из головы мысль, что Лингг просто так, по-бараньи, не пойдет на эшафот. До последнего я ждал, что он отправит правосудие в отношении своих судей и завершит судебный процесс еще одной бомбой. Если он этого не сделал, то лишь потому, что у него не было никакой возможности это сделать. Наверное, за ним постоянно следили. А теперь слезка наверняка ослабла, и Лингг с его потрясающей смелостью и целеустремленностью должен был совершить нечто, чтобы напугать своих врагов.

Тем временем еще теплилась надежда на смягчение приговора. Судье Гэри было подано прошение о проведении нового судебного процесса, но судья отклонил его, чего и следовало ожидать.

К этому времени меня поддерживало то, что в Чикаго как будто наметились перемены в общественном мнении. В конце лета начались приготовления к выборам, и, к удивлению капиталистов, лейбористская партия с большим перевесом выигрывала в одном округе за другим. Несомненно, что в результате этих успехов изменилось и отношение к процессу. В День благодарения, то есть двадцать пятого ноября, капитан Блэк получил *supersedeas*, или уведомление об отсрочке исполнения чудовищного приговора, что позволяло подать апелляцию в Верховный суд, которую капитан Блэк принялся немедленно готовить.

Ноябрьские и декабрьские туманы вынудили меня покинуть Лондон несмотря на то, что у моих друзей появилась надежда на более благоприятную перспективу, а у меня наметился некоторый прогресс в написании книги. Невозможной стала работа, когда кругом мрак, сажа, грязь. Меня донимала глубокая депрессия, в мерзкой темноте не выдерживали нервы. Пришлось мне воспользоваться первой же возможностью и купить билет на пароход до Бордо,

который, кстати, стоил совсем немного, пару фунтов за четыре дня пути. Нас преследовал шторм, что неудивительно в Бискайском заливе, однако задолго до прибытия в Бордо тучи рассеялись и выглянуло солнце. Туман остался позади. Я нашел комнату на узкой, заросшей виноградом улочке на окраине города и прожил там довольно дешево всю зиму. Мне удавалось покрывать свои расходы гонорарами за то, что я писал для Рейнольдса, так что вся работа с книгой стала как бы чистой прибылью. Неприятным же в моем пребывании в Бордо было то, что я оказался полностью отрезанным от американской жизни. В газетах не было заграничных новостей, достойных внимания; французы всерьез уверены, что малейшее происшествие на родине гораздо важнее даже самых значительных событий за рубежом. Поразительная у них замкнутость сознания. Им повезло долго жить с идеей того, что они первая нация в мире и их язык самый главный, а когда они очнулись, то оказались даже не на втором месте, потому что английский, русский и даже немецкий стали важнее французского. Они похожи на взрослых людей среди молодежи — воображают себя сильнее и мудрее, тогда как на самом деле старше и порочнее.

В начале марта я поехал в Париж, а из Парижа на несколько дней заглянул в Кельн, где вновь прикоснулся к мировой жизни и узнал, что тринадцатого марта капитан Блэк представил апелляцию в Верховный суд. Решения, однако, надо было еще ждать.

В Кельне я отыскал Социалистический клуб. Кстати, такие клубы были во всех немецких городах, где мне пришлось побывать. Я побаивался открыто появляться там, но тем не менее посетил кое-какие лекции, и мне стало ясно, что новые идеи завоевывают тут новых приверженцев.

Летом я довольно много работал для прогрессивных немецких газет, в первую очередь для социалистических, однако обнаружил, что идея Лингга об идеальном современном государстве, включающем в себя и социализм и индивидуализм, здесь неприемлема. Социалисты стояли на том, что кооперация займет место конкуренции как движущей силы, во что я даже при всем желании не мог поверить. Вновь и вновь я говорил о том, что все беды нашего общества исходят из того факта, что индивидуум объединяется с другими индивидуумами и тем самым увеличивает свою мощь, получая контроль за теми ветвями индустрии, которые ему совсем незачем контролировать. В результате он отбирает прибыль у государственной казны. Мне казалось, что мир сошел с ума. Семеро из десяти верили в ничем не сдерживаемый индивидуализм и заявляли, что гигантские беды, порожденные им, всего лишь не имеющая значения случайность, тогда как еще трое были убеждены в том, что конкуренция порождает всего лишь убытки, мошенничество и бесстыдную жадность, и заявляли о победе кооперации на земле. Я стоял между этими двумя партиями, и обе рассматривали меня как врага. Индивидуалисты отвергали меня, потому что я не мог принять их беспримерную ложь; социалисты же отвергали меня, потому что я не был во всем с ними согласен. Вновь и вновь я сталкивался с

тем, что Лингг был прав, когда говорил, будто современное государство не является в нужной мере комплексным: правительства должны платить людям с экстраординарными способностями, чтобы подвигнуть их на понимание и свершение того, чего другие люди не понимают и не могут сделать. Прогресс в обществе зависит от того, что ученые называют «соревнованием», от мужчин и женщин неординарных способностей, от демократического «соревнования», которое, судя по моему опыту, не имеет шансов. Жестокое общественное мнение, как я наблюдал в Америке, поглощает меньшинство, ненавидит его, во всяком случае, нетерпимо к его превосходству, даже существованию, поэтому у прогресса такие крошечные шажки.

## Глава XII

В течение нескольких месяцев я жил ожиданием хороших новостей, однако ближе к концу лета от моих надежд не осталось и следа. Двадцатого сентября Верховный суд вынес решение, утвердив приговор судьи Гэри перевесом в один голос. Когда я получил возможность прочитать «мнение» Верховного суда в американских газетах, у меня дух захватило от подобного издевательства. То, что было откровенной ложью, принималось как истина, были упомянуты даже свидетельства, которые не имели места в суде низшей инстанции. Чем выше, тем хуже, и от меня еще требовалось уважение. Чем больше платили судьям, чем выше они поднимались, тем яростнее защищали установленный порядок. Судьи Верховного суда по каждому пункту использовали закон по собственному усмотрению.

Как следовало ожидать, лейбористская партия не приняла бесчестный приговор. «Мнение» Верховного суда вызвало ожесточенную критику у лейбористских лидеров, и лейбористские организации в Чикаго приготовились к активной агитации. Капиталисты, однако, оказались готовыми к борьбе. Лейбористские митинги протеста были объявлены и собирали много народа, однако их бойкотировала капиталистическая пресса. Лейбористами были приняты и более силь-нодействующие меры. Миссис Парсонс, вызывая сочувствие, ходила по улицам и раздавала людям копии выступления ее мужа на первом суде, в котором он взывал к американскому народу, основываясь на Декларации независимости. Ее арестовали и тоже бросили в тюрьму, и немедленно в Чикаго были запрещены все митинги в защиту осужденных. Очевидно, что капиталисты не только придерживали, но и меняли законы, не брезгуя ничем, чтобы отомстить своим врагам. Мне стало известно, что капитан Блэк отправился в Нью-Йорк к генералу Прайору, самому лучшему знатоку права, советоваться, как следует апеллировать к Верховному суду. Однако он не мог представить Верховному суду доказательства, потому что суд Чикаго не выдал ему «запись» процесса, что случилось в первый раз в американской истории. Когда я прочитал об этом, то понял всю бесполезность его попыток. Если я и мог что-то сделать, делать это надо было быстро.

Тотчас я отправился в Лондон и принялся будоражить членов радикальных клубов. Все внимательно выслушивали меня и действовали, как я просил. Встретил я и нескольких англичан, работавших в том же направлении, в первую очередь доктора Эвелинга и Элеонору Маркс Эвелинг. Мистер Хиндман неутомимо выступал устно и письменно в пользу справедливого суда, да и Уильям Моррис ни на минуту не усомнился, когда подверг опасности свою репутацию в Америке, написав страстную статью в защиту осужденных. Два-три американца отличились в этом же роде, особенно Уильям Д. Хауэллс

и полковник Ингерсолл, знаменитый лектор, который выказал привычную смелость, выступив против того, что он назвал «узаконенным убийством».

Верховный суд назначил казнь на одиннадцатое ноября, и я в первый раз всерьез испугался того, что казнь состоится, доказывая тем самым слабость и неорганизованность пролетариата и мощь капиталистической системы. В Лондоне капиталистические газеты практически не отреагировали на протесты радикальных клубов. Такие гиганты, как «The Times» и «The Telegraph» всего-навсего написали о дате казни, словно постановление Верховного суда было не более чем обычным делом. Правосудие должно свершиться, писали они, и чем быстрее, тем лучше. Так же думали в Америке, разве что там царили страх и ярость. «Наконец-то все закончится, — писала «The Chicago Tribune», — и скоро мы будем избавлены от чудовищ, которым нет места в нашей жизни».

То, что семеро из восьми человек были совершенно невиновны, никого не волновало. Стоило кому-нибудь заговорить в их защиту в каком-нибудь общественном месте или на улице, и люди холодно смотрели на этого человека, не желали его слушать или безразлично пожимали плечами. У меня сложилось впечатление, что в мире очень мало людей, которых интересует правосудие, если не затронуты их интересы. Злость, ярость вернули мне немного сил. Я написал Иде, сообщив, что жажду вернуться в Чикаго. И умолял ее, чтобы она попросила за меня Лингга, и опять наши письма пересеклись, так как в последних числа октября я получил от нее письмо, в котором она передавала мне благодарность Джека за выполненное обещание и его наказ внимательно следить за концом «дела», потому что «еще понадобится честный свидетель». Мне почти воочию слышалось, как он произносит эти слова, и я тотчас принялся отыскивать всю информацию об осужденных и обращении с ними. Теперь мне надо постараться и как можно лучше описать, что я узнал о происшедшем в Чикаго, не говоря уже об ужасном завершении Хеймаркетского дела.

Так называемых анархистов отправили на пятнадцать месяцев в «Ряды убийц» в тюрьме округа Кук. У них были крошечные квадратные камеры с надежно зарешеченными окошками под потолком и тяжелой дверью. За обычной дверью была еще одна дверь из железных прутьев, которую летом использовали для проветривания камеры.

Начальника тюрьмы звали Фольц, он давно служил в этой системе, был аккуратен, наблюдателен и даже внимателен к своим подопечным. Время от времени заключенным разрешалось поговорить с друзьями, но лишь в «Адвокатской пещере», то есть в камере площадью десять футов на шестнадцать, где дверь была из железных прутьев, да еще обита железной сетью с крошечными ячейками. Снаружи стоял человек, который пришел поговорить с заключенным, а внутри заключенного охранял тюремщик. Как только Верховный суд вынес решение и назначил день казни, положение заключенных стало несравнимо легче. Почти каждый день к ним допускались жены, и мисс Миллер тоже разрешили навещать Лингга на положении жены.

В первых числах ноября капитан Блэк вылез вон из кожи, чтобы добиться амнистии хотя бы для кого-нибудь из заключенных; он был убежден в их невиновности и, защищая их, выкладывался без остатка, будучи умным и добрым человеком. Наконец ему удалось уговорить Шваба, Филдена и Спайса подписать прошение о помиловании, которое было обосновано следующим: во-первых, они не бросали бомбу, во-вторых, они понятия не имели о том, что будет взорвана бомба, и, в-третьих, на хеймаркетском митинге они призывали к мирным методам борьбы. Простение было подано губернатору, и все думали, что губернатор Огсби каким-то образом смягчит чудовищный приговор. Все было использовано, чтобы умолить Парсонса, Энгле-ля и Фишера попросить хотя бы об отмене смертного приговора. Миссис Фишер и миссис Энгель сделали все, что было в их силах, тогда как миссис Парсонс не согласилась влиять на мужа. Парсонс твердо отказался подписывать прошение, не содержащее требования немедленной реабилитации и свободы без всяких условий. По меньшей мере трое подписали прошение, и капитан Блэк положил его перед Линггом, который сразу же заметил, что это бесполезно, а потом заявил, что, даже не будь это бесполезно, даже если прошение удовлетворят, он не собирается ни о чем просить. Только когда миссис Энгель пришла и стала умолять его сделать это ради ее мужа, он пошел на уступки, и это прошение тоже было подано губернатору. Ответ губернатора последовал лишь десятого ноября, однако просочились слухи, что будто бы он помиловал Шваба и Филдена. Было очевидно, что губернатор не снизойдет до прошения об освобождении без всяких условий, поданного еще четверьмя заключенными.

Пока все это продолжалось, случилось нечто, вновь накалившее страсти. Несмотря на тюремные послабления, время от времени начальник тюрьмы Фольц приказывал обыскивать камеры. К счастью, или к несчастью, но камеры обыскивали утром в воскресенье шестого ноября, то есть в первый день последней недели в жизни узников. Ни в одной из камер ничего не нашли, а вот у Лингга отыскались три бомбы, как было сказано, по чистой случайности.

Случайность была такова, что не очень убеждала. Лингг якобы летом постоянно просил носить ему апельсины, и мисс Миллер выполняла его просьбы, а он складывал их в деревянный ящичек, стоявший возле кровати. Когда открыли дверь, чтобы произвести обыск, Лингга попросили перейти в «Адвокатскую пещеру». Он тотчас встал и спокойно спросил:

— Могу я взять с собой апельсины?

— Нет, — ответили тюремщики, — пожалуйста, оставьте все и потерпите, через две минуты вернетесь к своим апельсинам.

Лингг уже держал в руках ящичек и, получив отказ, небрежно поставил его на кровать и перешел в «Адвокатскую пещеру». Поначалу полицейские не обратили внимания на ящик, обыскали всю камеру и в последнюю очередь подошли к кровати. Шериф Хоган взял ящик в руки, открыл его и бросил в коридор. К счастью, ящик отлетел слишком далеко, скользнул между прутьями



решетки и упал этажом ниже, где сломался, и апельсины разлетелись во все стороны. Поняв, что произошло, Хоган подошел к перилам и посмотрел вниз. Он обратил внимание, что узники присматриваются к апельсинам, поэтому приказал принести фрукты наверх, но, отворачиваясь, успел заметить, что один из узников снял кожуру с апельсина, внутри которого было нечто совсем не апельсиновое. Тогда он сам сбежал по лестнице и схватил ящик. При более близком рассмотрении, судя по полицейскому рапорту, среди апельсинов были обнаружены три бомбы, спрятанные под апельсиновой кожурой.

После этого Лингга перевели в особую камеру номер одиннадцать, подальше от остальных, и с тех пор за ним следили и днем и ночью. Собирался он взорвать тюрьму? Или хотел использовать бомбы на месте казни? Понятия не имею.

Обнаруженные в камере Лингга бомбы привели всю Америку в состояние ярости и страха. В Чикаго началась паника, начальника тюрьмы ругали в газетах, не обошли вниманием и простых тюремщиков, и шерифов. Слишком много свободы получили узники. Анархисты — известные фанатики — убийцы — сумасшедшие — поэтому за ними надо следить, как за дикими зверьми, и убивать их надо, как диких зверей. Пресса была единодушна. Страх диктовал слова, которые писала ярость; но какими людьми были эти анархисты, вскоре стало очевидно по их делам. Их нельзя было замарать ни ложью, ни поношениями испуганных врагов, о них говорили их собственные дела, не боявшиеся дневного света.

## Глава XIII

Из семи осужденных только один был американцем. Это был Альберт Парсонс. Чем выше поднималась волна проклятий в адрес остальных анархистов как иностранцев и убийц, тем сильнее американская толпа хотела сделать исключение для Парсонса. Толпа всегда жаждет крови или поднимает на шит, не сообразуясь ни с какой логикой. Ее герои — полубоги, ее враги — исчадия ада. Как я уже говорил, общественное мнение превратило Лингга в дьявола, чудовище, дикого зверя, и то же самое общественное мнение теперь пыталось сделать ангела света из Парсонса. Должен признать, он привлек к себе симпатии американцев. Парсонс не просто родился в Америке, он был южанином, который еще мальчишкой сражался за Конфедерацию, а после войны стал сторонником условий, поставленных Севером. В 1879 году лейбористы выдвинули его в качестве кандидата на пост президента, однако он отказался от этой чести.

Прошлое Парсонса убедительно доказывало, что он беспристрастен; пусть даже фанатик, если хотите, но человек высоких принципов, хороший человек, то есть не плохой. Даже самые злобствовавшие американцы не могли обвинить Парсонса в убийстве, в отличие от Лингга, Спайса, Энгеля, Фишера и остальных осужденных. Кроме того, полицейские не поймали его; с уникальным великодушием он сам пришел к ним, по собственному желанию встретился лицом к лицу с опасностью. Честность его мотивов, благородный характер, красноречие произвели глубокое впечатление на людей. Губернатор Оггсби, который заранее решил заменить смертный приговор Филдену и Швабу пожизненным заключением, не мог просто так отложить в сторону дело Парсонса. Все хотели осудить иностранных анархистов, но не привлекая к ним симпатий тем, что Парсонс тоже разделит их участь. Итак, в понедельник утром, то есть девятого ноября, капитана Блэка поставили в известность о том, что, если Парсонс подпишет прошение без всяких условий, губернатор пойдет ему навстречу, принимая во внимание его прежние заслуги.

Капитан Блэк, благородный человек, весьма почитаемый в Чикаго, тотчас поспешил в тюрьму и, как мог, принялся уговаривать Парсонса подписать прошение, в котором всего в нескольких словах без красочных нюансов и дополнительных условий была изложена просьба о помиловании. К своей чести, Парсонс наотрез отказался его подписывать.

— Капитан Блэк, я невиновен, — воскликнул он, — поэтому мне не нужна жалость. Я требую свободы и уважения.

Когда же капитан Блэк стал напирать на него, объясняя, что другого шанса не будет, Парсонс заявил, что не может воспользоваться этим шансом, даже если бы очень хотел.

— Если я не разделю судьбу своих товарищей, — сказал Парсонс, — это будет предательством с моей стороны, по меньшей мере, дезертирством. И за это меня мало будет повесить и тысячу раз.

Несмотря на все уговоры капитана Блэка, несмотря на мольбы жены, Парсонс стоял на своем. На другое утро губернатор обнародовал свое решение. Смертные приговоры Шваба и Филдена заменили пожизненным заключением, а приговоры Спайса, Фишера, Ангеля, Парсонса и Лингга оставили без изменений. Казнь была назначена на следующее утро.

Это решение никого не удовлетворило. Девяти из десяти американцев было плевать на Шваба и Филдена, однако то, что повесят Парсонса, который из верности своим друзьям не пожелал принять помилование, казалось чудовищным постыдным приговором даже самым горячим противникам. Одновременно они тешили свое тщеславие тем, что «единственным достойным человеком в шайке был американец по рождению». Скоро они лишились своих иллюзий, скоро они узнали, что среди презренных иностранцев есть человек, который сильным характером и мужеством на голову выше своих собратьев.

Все оставшееся время после найденных в воскресенье бомб Лингг находился один в камере № 11, лишенный права на свидания. Присматривать за ним по очереди с капитаном Осборном было поручено надзирателю Б. Прайсу. Капитан Осборн был добр к Линггу, который, естественно, отзывался на доброту, как часы на движение ходовой пружины.

Рано утром десятого числа Осборн передал Линггу решение губернатора и рассказал, как Парсонс, несмотря на все искушения, отказался просить о помиловании и ставить себя в исключительное положение. Услышав об этом, Лингг воскликнул:

— Великолепно, великолепно! Вот это поступок, Парсонс, вот это поступок!

Лингг снял с пальца кольцо и отдал его мистеру Осборну, чтобы тот хранил его в память своей доброты к узнику.

— Подойдите к окну, — сказал Лингг, — и посмотрите на него. Стоит оно немного, но, может быть, в будущем вы будете ценить его больше.

Капитан Осборн подошел к окну, но не для того, чтобы посмотреть на кольцо, а чтобы скрыть свои чувства; и, пока он стоял возле окна, вдруг раздался взрыв, и его отбросило к стене. Прежде чем он успел что-то понять, дверь распахнулась, и в камеру ворвались два надзирателя. Дым уже рассеялся, и все увидели Лингга лежащим ничком на кровати в луже крови.

Что было потом, я узнал из сообщения в газете «The New York Tribune» от одиннадцатого ноября, не выказавшего симпатии к Линггу, однако великие дела и великие люди видны сквозь завесу невежества и ненависти, к тому же статьи о врагах трудно заподозрить в преувеличении их заслуг.

«Потоки крови залили кровать и пол. Куски плоти и кости разлетелись во всех направлениях. Мрачная камера, непереносимая вонь от взрыва не могли не утратить даже самые стойкие сердца.

— Ради бога, парень, что ты наделал? — воскликнул тюремный врач О'Нил.

Ответа не было, не было слышно дыхания. Принесли фонарик. Начальник тюрьмы Фольц пощупал у осужденного пульс. Удалось ли ему избежать казни? Отвечать на этот вопрос не было времени. С помощью своих помощников начальник тюрьмы перенес тело из камеры в контору. Весь путь был отмечен кровавой дорожкой. Зрелище не из приятных. Лицо Лингга было все в крови. От нижней челюсти ничего не осталось, верхняя сохранилась частично. Куски мяса висели под глазами. Грудь обнажилась чуть ли не до костей. Глаза были закрыты, правая рука судорожно сжимала пиджак начальника тюрьмы. Однако ни одного стона не вырвалось из горла несчастного. . .

Послали за врачами. Первым, почти тотчас, приехал доктор Грей, помощник окружного врача. По его приказанию Лингга перенесли в ванную комнату при кабинете начальника тюрьмы и положили на торопливо составленные два небольших стола, подсунув под голову несколько подушек, которые немедленно покраснели от крови, и лужа крови натекла на полу. Врач, нагнувшись над Линггом с ножом и иглками, срезал отстающие куски кожи и мяса, поломанные кости. Всего несколько минут ушло на то, чтобы зашить артерии. Наполнив небольшой шприц какой-то жидкостью, врач влил ее в ужасную каверну перед глоткой. Крепкая грудь умирающего начала медленно подниматься и опускаться. Лингг был еще жив. Его сердце и легкие продолжали выполнять свои функции. Вверх — вниз, вверх — вниз. Грудь поднималась и опускалась, и с каждым движением наружу выплескивалось море крови. Врач и подоспевшие ассистенты продолжали что-то вливать ему в глотку. В конце концов заметно пошевелилась рука несчастного. Пальцы сжали одеяло, которым его укрыли. Одно мгновение его всего трясло, потом он приподнял страшную голову, и в его лице уже не было ничего человеческого. На секунду Лингг открыл глаза и закашлялся хриплым, булькающим кашлем, отчего из горла у него опять пошла кровь, жуткое зрелище. . .

Наконец прибыл шериф. Стоило ему посмотреть на Лингга, и он, побледнев как смерть, отвернулся. Принесли теплые одеяла, к ногам несчастного прикладывали бутылки с горячей водой. Кровь остановили, наложенные повязки придали лицу более человеческий вид. Через каждые несколько минут кололи эфир. Голые руки врачей, ни на минуту не отходивших от умирающего, были все в крови. Наконец их труды были вознаграждены.

Изувеченное тело подало признаки жизни, очевидно было, что к Линггу вернулось сознание.

— Откройте глаза, — попросил окружной врач Мэйер. Лингг медленно поднял веки.

— Теперь закройте глаза, — сказал врач. Они закрылись почти механически.

Посреди медицинских манипуляций анархист поднял руку, словно о чем-то просил врачей. Они застыли на месте. Лингг попытался что-то сказать. У него ничего не вышло. Надрезанный у корня язык западал в горло. Тогда Лингг

сделал движение, словно собирался что-то написать. Сбоку от него положили бумагу и карандаш. Медленно, но твердо он вывел:

«Besser anlehnen am Rucken. Wenn ich liege, kann ich nicht athmen» (Подложите мне что-нибудь под спину. Когда я так лежу, то не могу дышать.).

Ну кому приходилось видеть такое сверхчеловеческое самообладание?

Лингг медленно повернулся на правый бок. Взгляд у него стал стеклянным. Бледность заливала лицо. Очевидно, что конец близок.

— Вам больно? — спрашивает врач.

Он отвечает кивком головы — и ни стоны, ни вздоха, вызванного муками. . .

В половине второго врач идет к телефону в кабинете начальника тюрьмы и докладывает шерифу:

— Мы теряем Лингга. Он долго не протянет. Дыхание стало затрудненным. Бледность усилилась.

Взгляд совсем остекленел. Тело затряслось в судорогах. Неожиданно высоко поднялась грудь. Еще пару минут Лингг дышал. Потом наступила тишина. Врач еще раз осмотрел его и потом сказал:

— Он умер.

Начальник тюрьмы Фольц вынул часы и сравнил время на них с тем, что показывали часы на стене. Без девяти минут три. Мертвый анархист лежал на столе с голой грудью. Врачи покинули кабинет, остались лишь тюремный врач и журналист, чтобы закрыть ему глаза. Журналист попробовал это сделать, но у него ничего не вышло. Потом он использовал монетки, оказавшиеся у него в кармане, но они были слишком легкими. Вошел полицейский. Он едва ли не с удовольствием смотрел на мертвого убийцу своих товарищей.

— У вас есть монетки? — спросил журналист. Полицейский автоматически полез в карман и тотчас

вытащил руку.

— Только не для этого чудовища, — твердо произнес он. Мнения насчет того, каким средством воспользовался

Лингг, чтобы положить конец своей несчастной жизни, разделились. Предположений множество. Свидетельств никаких. Доказательства отсутствуют. Одно точно: взрыв сделал свою работу».

\* \* \*

Вся тюрьма переполошилась после самоубийства Лингга. Надзиратели носились, как сумасшедшие, заключенные выкрикивали вопросы, везде стоял дикий шум. Парсонс приник к решетке в своей камере и, узнав, что случилось, крикнул: «Дайте мне бомбу; я сделаю то же самое».

Новость о взрыве быстро распространилась и за тюремными стенами, собралась толпа, жаждавшая знать правду, — толпа, которая в отчетах журналистов стала намного больше той, что была реально. Новости просачивались по кап-

ле и так же отражались в газетах. Казалось, весь город сошел с ума, повсюду мужчины начали вооружаться, распространялись страшные слухи. Везде были бомбы. Нервное напряжение достигло предела. Циркулировавшие по городу в тот день и вечер истории, как сказал один из журналистов, как будто принадлежали литературе Бедлама<sup>1</sup>. А дело было в том, что бомбы, найденные в камере Лингга, и его самоубийство испугали добропорядочных чикагцев до потери рассудка. В одном из отчетов было сказано, что в Чикаго двадцать тысяч вооруженных и отчаянных анархистов планируют нападение на тюрьму следующим утром. Редакции газет, банки, Торговая палата, Ратуша охранялись и днем и ночью. Чикагцы открыто носили оружие. Одна из газет написала, что в десять часов вечера в четверг на Мэдисон-стрит все еще работал ружейный магазин и в нем было полно мужчин, покупавших револьверы. Это никому не показалось странным, наоборот, было как будто естественным и правильным. Ужас в предчувствии катастрофы не только витал в воздухе, но слышался в разговорах мужчин и был виден на их лицах.

В Америке еще никогда не случалось ничего подобного тому, что произошло в Чикаго одиннадцатого ноября. На протяжении квартала во всех направлениях от тюрьмы были натянуты веревки поперек улиц, чтобы предотвратить продвижение машин. Там, где кончались веревки, стояли полицейские, вооруженные винтовками, все подходы к тюрьме контролировались другими вооруженными до зубов полицейскими, сама тюрьма охранялась как военный аванпост во время битвы. Вокруг расположились полицейские цепочки, и из всех окон высовывались вооруженные полицейские, не говоря уж о том, что от них чернели все крыши.

В шесть часов утра журналистов допустили в тюрьму; после чего вход был закрыт для всех. С шести и почти до одиннадцати часов примерно две сотни журналистов в ожидании простояли в кабинете начальника тюрьмы. Тем временем истории, одна страшней другой, передавались шепотом от одного бледного корреспондента к другому, и от таких историй могли не выдержать чьи угодно нервы. Два журналиста лишились чувств, и их вынесли вон. «За всю мою карьеру, — писал один из очевидцев, — я в первый и в последний раз видел, чтобы американский журналист терял сознание в преддверии казни, не имевшей к нему никакого отношения.

Теперь трудно, — писал тот же человек, — понять заразную силу паники, царившей в городе и в тюрьме. Возможно, будет легче понять наши чувства, если знать, что, пока мы стояли там, чикагская газета подготовила экстренный выпуск, всерьез объявляющий о заминировании тюрьмы, которая взлетит на воздух в момент казни».

Мне стало более чем понятно предсказание Лингга насчет результатов взры-

---

<sup>1</sup> Бедлам — производное от Вифлеема, города в Иудее. Сначала была больница имени Марии Вифлеемской, затем дом для умалишенных в Лондоне. Здесь: сумасшедший дом.

ва второй бомбы.

Через некоторое время этот честный журналист и очевидец описал «узаконенное убийство»:

«Наконец была дана команда, и мы зашагали по плохо освещенному коридору во двор, где должна была состояться казнь; мы увидели, как возрождающимся варварством были оборваны четыре жизни. Ничего не взорвалось, никто на нас не напал, никто не привел свои когорты к стенам тюрьмы или еще куда бы то ни было, вооруженные и невооруженные анархисты не угрожали властям штата. В глазах людей я видел напряжение, страх, отчего все лица казались мне бледными и осунувшимися, однако в тот день во всем городе не произошло ничего противозаконного. Звучит ужасно, жестоко, и все же, на мой взгляд, всего лишь на мой взгляд, в сердцах людей зажегся огонь, потому что четыре сердца успокоились навеки.

Окончание трагедии предварила еще одна странная сцена, и тот, кто видел ее, никогда не забудет воскресную похоронную процессию, черные катаfalки, тысячи людей, которые молча вышагивали милю за милей по людным, но молчаливым улицам, мрачное впечатление от всепрощающей смерти и еще более мрачный вопрос: правильно ли мы поступили? Самоубийство Лингга и поразительное мужество, с каким он переносил нечеловеческие страдания, пробудили в людских сердцах жалость к нему, а в головах — сомнение. Короткий ноябрьский день закончился погребальными службами на темном кладбище и молчаливым возвращением людей в город. Ни один человек не подал голос ни около могил, ни где бы то ни было еще; люди все время молчали, словно что-то обдумывали».

Наконец-то завершилась затянувшаяся трагедия. Не могу передать, какие чувства обуревали меня, когда я читал статьи о последних минутах жизни узников и об их похоронах. Я словно все видел собственными глазами! До чего же хорошо я понимал Лингга и его отчаянный поступок. В то время мне и в голову не могло прийти, для чего предназначались еще четыре бомбы; ведь он взорвал только себя самого ради пробуждения страха в людях, не желая никому причинить боль. Представляете, насколько он был храбр и насколько владел собой! Ему удалось найти слова, чтобы Осборн ничего не заподозрил. А потом, когда врачи своим искусством возвращали его к жизни, причиняя нестерпимые муки, он ни разу не застонал, ни разу не вскрикнул. Слезы брызнули у меня из глаз. Такая мощь перестала существовать, такое величие обрело столь ужасный конец! Что-то отвратительное было для меня в мысли о полицейском, который назвал бездыханного Лингга «чудовищем». Ему бы спросить Осборна, и, наверно, у него сложилось бы более объективное впечатление, потому что после катастрофы Осборн не боялся говорить правду. Вот, что он сказал о Лингге: «Я самого высокого мнения о Луисе Лингге и верю, что его неправильно поняли. Он был честен в своих взглядах настолько, насколько это возможно для человека, и свободен от мстительности, словно новорожденный

младенец. Мне лишь хотелось бы, чтобы молодые люди Америки могли быть такими же сильными и добрыми, каким был Луис Лингг, если забыть о его анархизме».

Даже тюремщики жалели и почитали Луиса Лингга.



## Глава XIV

Моя задача, потребовавшая от меня много времени, почти выполнена. У меня не осталось сил, чтобы особенно задерживаться на последних печальных событиях. Через десять — двенадцать дней после того, как в Кельне я получил телеграфное известие о смерти Лингга, пришла газета с полным описанием всего происшедшего, которое я использовал в предыдущей главе, а потом и письмо от Иды с четырьмя листочками, исписанными четким почерком Лингга. Он написал их и передал Иде, когда она в последний раз навестила его в субботу, пятого ноября, как раз перед тем, как у него в камере нашли бомбы. Вот это письмо:

«ДОРОГОЙ БИЛЛ!

Я знаю, что тебе все известно о моей болезни и ты будешь радоваться не меньше меня, если доктора позволят мне встать через неделю. Я мучился и еще буду мучиться; и это научило меня тому, что человек не должен сеять вокруг себя страдания, если сам не умеет мужественно их сносить. Я готов ко всему. Наш труд почти завершен, Билл, и мы хорошо потрудились, это было неплохо вопреки твоим опасениям. Первый Детский акт был принят в штате Нью-Йорк в 1886 году, и он запретил до смерти замучивать работой детей до тринадцати лет. Одному из нас осталось лишь взойти на крест, подобно Иисусу Христу, и единственно любовью обратить веревку палача в символ всеобщего братства. Сердце горит огнем у меня в груди. Мы завоевали Детскую хартию и не очень дорогой ценой. Хорошая работа, Билл, не сомневайся, это была хорошая работа.

Нам повезло, что мы познакомились и полюбили друг друга. Не забывай Иду, женись на Элси, напиши великую книгу и будь счастлив как человек, который работает не только для себя, но и для других.

До конца твой преданный друг,  
Джек».

Не хочу возносить слишком высоко торопливые строчки, написанные чуть ли не в последнюю минуту жизни, но невозможно читать их и не думать о благородстве и великодушии того, кто писал их, «ибо его сила порождала нежность». Что же до меня, то это письмо окончательно вывело меня из состояния депрессии. Постановив исполнить завет Лингга, я стал работать на кельнские газеты и вновь подставил плечи под тяжелый груз жизни.

В своем письме Ида подробно рассказала мне обо всем, и я плакал, читая его. Она записала для меня последние мысли Лингга:

«Передай Биллу, — говорил он, — что мне кажется неправильным нападать на подчиненных более чем однажды, поэтому я ничего не сделал ни тюремщикам, ни судебным, как намеревался вначале.

Кроме того, нас не поняли: нечестные, подлые люди решили, что мы действовали из жадности или ненависти, поэтому требовалось доказать, что если мы ни во что не ставим жизни других людей, то свою ценим еще меньше. Себя люди не убивают из жадности или ненависти; они делают это во имя любви или во имя некоего идеала. Мой поступок научит самых умных из наших оппонентов, что их борьба с нами не даст результатов; власти должны быть на стороне правых и завоевывать уважение».

«Билл, он был безумен, — написала мне Ида, — как безумен все, кто слишком хороши для этой жизни. Я просила его ради меня не прикасаться к своим изобретениям, но он заставил меня прятать их в руках и волосах и передавать ему одно за другим, ему хотелось, чтобы и у других они тоже были — «ключи от нашей земной тюрьмы», как он называл их».

Остальная часть письма была простой и трогательной; очевидно, что написана она после взрыва и похорон Лингга. Миссис Энгель была очень добра к Иде и настояла, чтобы та переехала жить к ней. Теперь они вместе работали в магазине, и Ида помогала ей заботиться о трех малышах. Самый маленький был копией отца, таким же круглолицым, добрым и сильным. Потом Ида вновь вернулась в своем письме к Линггу:

«Он сказал, чтобы я не думала о прошлом, и я стараюсь его слушаться, хотя это очень трудно, и, когда я забываюсь, Джонни дергает меня за платье и говорит: «Не плачь, тетя Ида! Не плачь!»».

Каждый день приходит Элси, она честная и преданная девушка. Напиши ей, сейчас она стала еще красивей, чем прежде, и в страдании выглядит поистине ангельски. Пиши чаще, Билл, теперь мы должны поддерживать друг друга — ах, боже мой!..»

В ответ я написал Иде о моей привязанности к ней и попросил дать мне знать, если ей хоть что-то понадобится, я закончил письмо обращением к Элси — спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Элси ответила, что готова немедленно ехать в Германию или во Францию и стать моей женой, заодно поинтересовалась, не может ли она привезти с собой мать? Письмо было прелестное. Милые детские фразы пролили бальзам мне на сердце. «Жаль, меня нет рядом, милый, чтобы ухаживать за тобой; ты скоро поправишься, ты научил меня любить, с тех пор, как я узнала тебя, я стала гораздо лучше, и ты будешь гордиться мной, мой милый. Я только и думаю о том, как приеду к тебе, однако робею при мысли о нашей встрече. . . » Любимая!

Я написал Элси, что больше всего на свете мечтаю о том, чтобы она была рядом, что немедленно начинаю подыскивать для нас дом и пошлю за ней, как только все будет готово.

Однако этому не суждено сбыться. Вечерами я гулял, стараясь вновь обрести надежду или хотя бы заставить себя работать, — напрасно. Моими мыслями владела печаль. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что с уходом Элси в тот трагический майский вечер во мне что-то надломилось. Мне не

хватило сил справиться со столь сильными и противоречивыми чувствами. Следующий удар я получил, когда бросил бомбу и осознал, что сделал. И последняя ниточка, привязывавшая меня к жизни, оборвалась, когда умер Лингг. Природа поступает с нами, как мы поступаем с упрямыми детьми. Сколько хватает сил, мы держимся за жизнь, а потом приходит Природа и бьет нас по пальцам до тех пор, пока мы больше не в состоянии выдерживать боль, тогда мы разжимаем пальцы и катимся в пропасть.

Мое наказание — убитое желание жить; наверное, оно подкосило мои силы, потому что стоило мне попасть под дождь, и я заболел бронхитом. На другое утро я едва дышал. Пришлось написать Элси, что я сильно простудился; я попросил ее подождать с приездом, обещал быстро поправиться, однако уже тогда я знал, что лучше мне не станет.

Я продолжал изо всех сил работать над книгой, решив во что бы то ни стало закончить ее; но прошли десять дней постельного режима, и добрые соседи позвали врача, который, увидев меня, стал очень серьезным и посоветовал всерьез лечиться, а когда я принялся его расспрашивать, он сказал, что у меня туберкулез и задеты оба легкие. Собственно, я полагаю, что был слишком ослаблен и не выдержал нагрузки, так что встретил весть о близком конце со вздохом облегчения. От тяжелой беспощадной жизни устать несложно! Я удвоил свои усилия, желая поскорее закончить книгу. Как только у меня оказались на руках два экземпляра, я послал один Иде и другой Элси и сразу же почувствовал себя намного лучше; оставалось дописать лишь короткую заключительную главу. Почему-то мне казалось, что воздух родных Альп будет благотворен для меня, поэтому я вернулся на некоторое время в Мюнхен, а потом в Рей-хольц поближе к дому, но здесь я задержусь надолго. Вчера, прежде чем взяться за последнюю главу, я написал длинные письма Иде и Элси, навсегда прощаясь с ними. Думаю, надеюсь, что получу от Элси ответное письмо, и если получу, то приложу его к этой главе. После моей смерти книга будет у Элси, и пусть она вместе с Идой распорядится ею по своему усмотрению. Итак, что в итоге? Я вышел в мир, боролся, трудился и вернулся в родные места. Путешествие и борьба — пара нежных поцелуев и дружеское рукопожатие — вот и вся моя жизнь. Человек начинает жить с определенным запасом энергии, и растратит он ее за шестьдесят лет или за три года, не имеет значения. Вопрос в том, что он сделает и чего добьется, а не в том, радовался он или страдал или сколько времени у него заняла его работа.

Нашу жизнь, я уверен, мы прожили с честью. Как говорил Лингг, брошенная на Хеймаркет бомба положила конец избиениям дубинками и стрельбе в безоружных мужчин и женщин со стороны полицейских, она также способствовала принятию Детской хартии и установлению Дня труда как народного праздника. Результат трагического самоубийства Лингга оказался невероятным. В Чикаго его смерть приняли близко к сердцу. В такой смерти есть свое благородство и своя добродетель. Жители Чикаго убедились в величии Лингга

и Парсонса и в душе признали, что общество сильно прогнило, если довело до отчаяния таких людей.

Приведу один пример произошедших изменений. На том месте, где погибли полицейские, был поставлен в их честь памятник со статуей полицейского наверху. Вскоре, однако, под каким-то благовидным предлогом памятник убрали, перенесли за несколько миль от места событий, в парк, где много деревьев и где его никто не видит, а тем более не знает, по какой причине он был поставлен в Чикаго. Так или иначе, но многим стало ясно, что полицейские в тот раз не были героями.

Точно так же, насколько мне помнится, Марату устроили потрясающе пышные похороны, его тело со всеми возможными почестями поместили в Пантеон, люди бились в истерике, носили шляпы под Марата, галстуки под Марата, сюртуки под Марата, а не прошло и года, как Шарлотту Корде оправдали, перестали называть убийцей, она стала великой, героиней, тогда как тело Марата вытащили из Пантеона, гроб разбили, прах развеяли по ветру. И правосудие не остается безнаказанным. Что будет результатом наших трудов, пока неясно. Хорошо ли мы поступили? Что лучше, восставать или подчиняться? Боюсь, чем больше я плачу болезнью и несчастьями за то, что сделал, тем сильнее моя вера в нашу правоту.

Одно несомненно. Луис Лингг был великим человеком, прирожденным вождем, который, сложись обстоятельства иначе, мог стать выдающимся реформатором или выдающимся государственным деятелем. Когда о нем говорят как об убийце, у меня сжимается сердце от жалости к людям, потому что в жилах Лингга текла кровь мучеников. Как все мученики, он жалел людей, сочувствовал страдающим и обездоленным, презирал жадность и низость, верил в будущее и в совершенство человека.

Что еще написать? Как будто больше нечего. Имеющий уши, да услышит, а до остальных мне нет дела. Приближаясь к концу жизни, я стал понимать, что мнение людей немногого стоит, и еще одно высказывание Лингга помогает мне сейчас. «Закон гравитации, — говорил Лингг, — есть закон необходимости; хорошо бы оказаться в наиболее благоприятном отношении к гравитационному центру нашего мира — вот было бы безопасно, легко, приятно жить. Но, как ни странно, центр притяжения, даже нашей планеты, постоянно меняется, движется к некоей невидимой цели. Звезды, помимо нашей воли, куда-то тащат нас и влияют на наши судьбы. Вот и мистер Вездесущий Мудрец не может избежать огорчений. Быть правым можно лишь доверяясь собственному сердцу, и тогда будь что будет».

Пару слов о себе. Ощущая приближение смерти, я совершенно спокоен. В этой жизни мне досталось немного счастья, разве что — Элси; однако, познакомившись с Элси и Линггом, я обрел более полную, более богатую жизнь, чем та, которую сумел бы прожить сам по себе. Если хочешь достичь вершины, не стоит сокрушаться о цене. Мне лишь жаль Иду и Элси; мне бы хотелось, мне

бы хотелось — но даже самые жестокосердные люди не шагают по цветам.

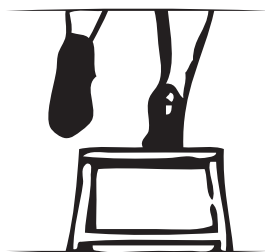
Не могу поверить, что в этом мире благое дело может быть забыто, что стремление к лучшему и даже просто надежда умирают без следа. В своей короткой жизни я видел посаженное зерно и собранные плоды, а это уже немало. Не сомневаюсь, что какое-то время нас будут презирать и чернить, ведь судить нас будут сильные и богатые, а не бедные и обездоленные, ради которых мы отдали свои жизни.

КОНЕЦ

Библиотека Анархизма

Антикопирайт

21 мая 2012



Фрэнк Харрис

Бомба

Пролетарский роман английского денди

2005

Сохранено 31 марта 2012 года из **anarcho-news.info**